

ЧЕСТЬ



ОТВАГА

**Т. Гладков,
А. Лукин**

Откладывать операцию больше нельзя. Каждый час промедления теперь таил в себе угрозу, и Виктор принял решение ликвидировать Сычика самому, не

передоверяя этого никому другому.

В ближайший воскресный день Паша, напевая песенку, вышла из дому и направилась в сторону городского пляжа. Глядя на ее свежее, чуть тронутое загаром лицо, никто бы не сказал, что накануне она провела без сна едва ли не самую скверную ночь в своей жизни.

**ДЕВУШКА
ИЗ РЖЕВА**

МУЖЕСТВО



ЧЕСТЬ • ОТВАГА • МУЖЕСТВО

ТЕОДОР ГЛАДКОВ
АЛЕКСАНДР ЛУКИН

ДЕВУШКА ИЗ РЖЕВА

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1974

9(с)277
Г52

© Издательство «Молодая гвардия», 1974 г.

Г $\frac{70302-062}{078(02)-74}$ 178—74

1.



Беженцы... Это слово, в котором так и слышалось что-то безнадежное и тоскливое, Паша Савельева раньше встречала только в книгах о гражданской войне, иногда его упоминала в разговоре и мать, Евдокия Дмитриевна, когда рассказывала все о той же гражданской.

Были, мол, такие бедолаги, которых война согнала с родных мест, лишила крова, вышвырнула с узелком наспех собранных, самых нужных вещей на дороги, ведущие неизвестно куда, лишь бы уйти... От германцев, от деникинцев, от колчаковцев, от белополяков. Шли, гонимые страхом и отчаянием, по разбитым дорогам, несли на руках заплаканных ребятишек, иногда вели на веревке коровенку или козу — последнее богатство и надежду. Страдали от голода и жажды, мокли под дождями в чистом поле, дрожали так, что не попадал зуб на зуб, в зимнюю стужу, умирали от тифа и истощения на улицах чужих городов и сел.

Давно это было — в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом. Но вот она, Паша, — беженка на родной советской земле в июне сорок первого. Еще в субботу был ярко освещенный круг танцевальной веранды в парке Шевченко, кино на открытой площадке, ребята угощали мороженым-эскимо. Духовой оркестр беспрерывно играл вальсы и польку-бабочку. И шумела ласково пока не опаленная июльским зноем листва каштанов и тополей.

Домой она вернулась поздно, пришлось будить мать — та по забывчивости закрыла дверь не только на ключ, но еще и на щеколду.

Паша не слышала утром радио, хотела выспаться в воскресенье и, прежде чем нырнуть под прохладную простыню, выдернула из розетки вилку громкоговорятеля-тарелки.

Разбудили ее оглушительные взрывы. Босая, в одной ночной сорочке, ничего не понимая со сна, Паша побежала к окну, и в ту же секунду дом заходил ходуном, с жалобным звоном посыпались стекла, и какая-то мягкая, но неодолимая сила отбросила ее к стене. И тут только Паша поняла, что это бомбардировка. Кинулась в соседнюю комнату. Мать, сидя на кровати, прижимала к груди Верочку, пятилетнюю внучку от старшей дочери, и с ужасом повторяла еле слышно:

— Господи, и что же это делается, господи, что же делается...

А делалась война. Только что обрушившаяся на их Спокойную улицу (да, так, словно по иронии судьбы, она называлась), на тихий город Луцк, на всю мирную страну.

Два дня прошли как в тумане. По городу ползли самые противоречивые слухи. Кто уверял, что немцы взяли Киев, кто, наоборот, что их отбросили за границу. Рассказывали о парашютистах, сброшенных в форме советских милиционеров, о шпионах, посылающих сигналы фашистским бомбардировщикам карманными фонариками, и еще черт те о чем.

Паша почти не выходила из банка: упаковывала вместе с другими банковскими служащими деньги, ценности, документы в мешки и ящики, составляла описи, печатывала, грузила, сжигала по указанию заведующего какие-то бумаги, ночью дежурила на крыше, не-

умело тушила брызжащие горящим фосфором немецкие «зажигалки».

Двадцать четвертого улучила минуту — сбегала домой. Охнув, Евдокия Дмитриевна кинулась накрывать на стол. Паша только отмахнулась. Наспех сделала себе несколько бутербродов, сунула в противогазную сумку. С жадностью выпила стакан холодного молока.

— Обедать некогда, мамочка. Собирайте вещи. Только самое нужное. Уходить будем, пока не поздно. Вечером я вернусь, помогу. А утром отправляемся.

К вечеру все банковское имущество было эвакуировано в Киев, и безмерно уставшая Паша действительно вернулась домой. Мать и тетка Ефросинья Дмитриевна успели кое-как собрать два чемодана и теперь как потерянные бродили по комнатам, сразу ставшим чужими, брали в руки то одну вещь, то другую, словно не веря, что все это — свое, домашнее, нажитое — придется бросить на произвол судьбы, да и сам дом тоже.

Утром следующего дня Паша побежала на вокзал и тут в толпе узнала самое ужасное: поезда из Луцка уже не ходили. Последний, ушедший ночью эшелон разбомбили «юнкеры». Железнодорожное полотно разрушено. Когда его восстановят — неизвестно. Люди на вокзале говорили, что можно уйти по шоссе в Киверцы, откуда, по слухам, поезда еще ходят.

...Их было несколько тысяч — беженцев, растянувшихся по Киверецкому шоссе. Мужчин мало, в большинстве женщины с детьми, старики. Лишь немногие на подводах. А так все пешком, нагруженные чемоданами, узлами, корзинами. Некоторые катили детские коляски, набитые доверху вещами. Какой-то дед тащил старинные настенные часы, которые иногда вдруг начинали бить...

Шли молча, понурые, растерянные люди в последней надежде вырваться из стягивающегося вокруг них кольца немецких войск. И вместе со всеми шли дорогой людского горя Савельевы. Тяжелые неудобные чемоданы оттягивали руки, в горле першило от пыли, а воды не было — захватить из дому второпях не догадались. По очереди несли Верочку. Каждые двести-триста шагов приходилось останавливаться — у Евдокии Дмитриевны совсем отказывали больные ноги.

Иногда над шоссе с прерывистым ревом проносились немецкие бомбардировщики с крестами на крыльях и фюзеляжах. Тогда все бросались врассыпную, кидались в придорожные кюветы, прижимались всем телом к земле. Но немецкие летчики в тот день не обращали на беженцев никакого внимания, они шли на восток бомбить какие-то, видимо, более важные цели. После полудня, когда стало нещадно припекать солнце, Евдокии Дмитриевне сделалось совсем плохо. Паша стояла рядом в полной растерянности, не зная, что делать дальше. К женщинам подошел довольно высокий, крепкого сложения парень в сером от пыли костюме. За спиной его болтался тощий армейский вещмешок, какие бойцы называют «сидорами». Глядя на Пашу с нескрываемым сочувствием, он мягко предложил:

— Дайте-ка я вам помогу, земляки.

Говор у него, точно, был не местный — российский. Паша с сомнением оглядела непрошеного помощника. Но глаза парня были добрыми, смотрел он открыто, чувствовалось, что такому можно довериться. И, не отнекиваясь для приличия, хотя и испытывая неловкость, Паша сказала:

— Спасибо вам...

Без малейшего усилия парень подхватил два чемодана.

Они шли по шоссе еще часа два, незнакомец с ве-

щами впереди, за ним Паша с Верочкой и сзади, поддерживая друг друга, — сестры. Шли до тех пор, пока перед самыми Киверцами не преградил им путь встречный поток взбудораженных беженцев: опоздали, немцы уже перерезали железную дорогу. И все шоссейные, ведущие на восток, тоже. Идти дальше было некуда. В бессильном отчаянии стояли на шоссе люди, пока не заурчали со стороны станции моторы и медленно выползли на дорогу тяжелые туши немецких танков. И, отступая перед их слепой беспощадностью, люди зашагали обратно, в Луцк. Где ждали их тридцать один месяц оккупации.



Страшное это было возвращение. Их встретил совсем не тот город, что они покинули: чужой, неприветливый, жестокий, таящий за каждым углом тысячу опасностей, хотя и сохранивший старый, привычный облик. Не изменилась ни ленивая раскидистая Стырь, ни мрачные башни замка Любарта, ни дома, ни старые костелы и церкви. И улицы остались теми же. Впрочем, нет, с улицами что-то произошло, а что — Паша сразу даже не поняла, потом только до ее сознания дошло: появились блестящие эмалированные дощечки с новыми — немецкими — названиями: Гитлерштрассе, Герингштрассе, Цитадельштрассе.

И вывески новые появились на витринах магазинов — непривычные, с фамилиями частных владельцев. В ма-

газинах суетились какие-то наглые и в то же время угодливые люди с бегаящими глазками. Откуда они только взялись, где были раньше? На дверях лучших магазинов и ресторанов объявления: «Только для немцев».

И сами немцы повсюду — армейцы в серо-зеленых мундирах с большими накладными карманами, над правым орел со свастикой в когтях, эсэсовцы в черных мундирах со зловещей эмблемой — черепом и скрещенными костями на фуражке и погоном только на правом плече, жандармы с полукруглыми металлическими бляхами под воротником. Все вооруженные.

Сытые, здоровые, наглые.

Хозяева «новой Европы».

И холуи новых хозяев — украинские полицейские с белыми нарукавными повязками и винтовками. Одни пришли вместе с немцами, другие, оказывается, скрывались в каких-то щелях и при Советской власти. Однажды на Базарной улице Паша с изумлением узнала в неторопливо идущем навстречу полицеае знакомого парня — звали его Семеном. До войны они вместе бывали на вечеринках у общих знакомых. Обычный парень был, вроде неплохой, веселый, провожал как-то ее до дома.

Запестрели приказами новых властей заборы и стены домов: за укрывательство коммунистов, военнотружущих Красной Армии и евреев — расстрел, за саботаж и нападение на немецких солдат — расстрел, за слушание радиопередач из Москвы — расстрел, за «большевистскую пропаганду» — расстрел. Под приказами подпись: «Генеральный комиссар Волыни и Подолии Шёне».

Все жители города обязаны пройти регистрацию в магистрате. Евреям и коммунистам регистрироваться особо. Все жители должны иметь всегда при себе удо-

стоверение личности — аусвайс и справку о работе — мельдкарту. Хождение по городу в ночное время без специальных пропусков категорически воспрещается.

Перед Пашей сразу стал вопрос — что делать, как жить дальше. Идти работать в банк значило поступить к немцам на службу, об этом она и слышать не хотела. В то же время нужно было кормить семью. На первых порах могли выручить небольшие сбережения, кое-что можно было продать или выменять на продукты. Но долго так не протянешь.

Поэтому Паша сочла, что ей здорово повезло, когда удалось устроиться судомойкой в открывшуюся неподалеку от их дома частную столовую для местных жителей.

Вскоре Паша получила повестку из магистрата — регистрироваться. В длинной понурой очереди разговорила с ровесницей — хорошенькой кудрявой девушкой. Звали ее Шура. После регистрации вышли из магистрата вместе, и тут оказалось, что живут они по соседству. Старый дом Шуры сгорел при бомбардировке, и она поселилась у своей бывшей учительницы Марии Григорьевны Галушко (сейчас она работала корректором в типографии).

Шура познакомила Савельеву с Марией Григорьевной, полной, очень приветливой женщиной, и ее детьми. Позже, когда они ближе узнали друг друга, Мария Григорьевна рассказала Паше, что ее муж политрук в Красной Армии.

В доме Галушко часто бывала Мария Ивановна Дунаева, муж ее служил кучером у луцкого бургомистра. Заходила Наталья Косяченко. Ее муж был командиром, а брат — генералом Красной Армии. Наталья, как и Паша, пыталась уйти из города, но ее по рукам и ногам связывали двое детей. Самой старшей из новых

знакомых Паши была Анна Авксентьевна Остаплюк, уборщица гебитскомиссариата.

Женщины помогали друг другу в трудном оккупационном житье-бытье, в то же время чувствовалось, что между ними складываются и какие-то особые, пока, правда, невысказанные отношения, выходящие за рамки простого добрососедства.

Как-то Мария Григорьевна поинтересовалась, откуда Паша знает польский язык, ведь она родом из России и в Луцке живет недолго. Девушка охотно рассказала о себе.

Родилась Паша в деревне Зарубино Калининской области. У матери, кроме нее, было еще двое детей — Иван, умерший до рождения Паши, и старшая Лена. Отца Паша не помнила, умер, когда она была грудной. В деревне девочка окончила четыре класса. Средней школы в Зарубине тогда не было, и мать отправила Пашу в город Ржев, к тете Ефросинье Дмитриевне, работавшей там на льночесальной фабрике. В Ржеве Паша поступила в школу-десятилетку № 3, где ее приняли в комсомол.

У Ефросиньи Дмитриевны на фабрике была добрая знакомая, тоже работница, Вера Михайловна Лискевич, полька по национальности. Девочка очень понравилась Вере Михайловне, и она взяла Пашу к себе жить, пока ее мать не переедет в Ржев. Дома Вера Михайловна разговаривала с сыном Колей по-польски, постепенно научилась языку и Паша.

Окончив школу, девушка поехала учиться в Москву, хотела стать детским врачом, но в медицинский уже документов не принимали — опоздала. Встретила подруг по школе: Шуру Андрееву, Марусю Морозову, Шуру Самуйлову. Те уговорили поступать вместе с ними в Кредитно-экономический институт Госбанка СССР.

...В Москве Паша растерялась. Огромный город по-

давил, ошеломил ее многолюдьем, пронзительными клаксонами автомобилей, лязгом трамваев, толкотней на тротуарах, обилием товаров в магазинах. Поразила ее и нерасчетливость москвичей — им ничего не стоило потратить сразу столько денег, сколько им во Ржеве хватило бы на неделю. Одно слово — Москва! И мама перед отъездом опасливо говорила ей: «Смотри, Пашенька, в оба, они там, в Москве, знаешь какие...»

Но страхи оказались напрасными. Весь этот шум был только внешней стороной жизни большого города. Да и оглушающим хаосом он оставался только до той поры, пока Паша не научилась понимать его скрытый для деревенского человека смысл. Так и для горожанина все звуки леса сливаются в один непонятный шорох. А любой сельский мальчишка легко и без ошибки различит в нем и мерный сухой шелест сосновой хвои, и нежные вздохи под ветром березовых крон.

Москвичи тоже оказались совсем не такими страшными, как опасалась мать. Да, собственно говоря, не так уж много было в Москве самих москвичей. Кажется, ее заселили в ту пору одни приезжие. В толпе на улице Паша то и дело слышала и неторопливую украинскую мову, и гортанную кавказскую речь, узнавала родной северный говор. На их курсе коренных москвичей тоже было раз-два — и обчелся. Остальные — кто откуда, некоторые называли такие места, о которых Паша и не слыхивала раньше никогда.

Но и освоившись, Паша в глубине души продолжала оставаться застенчивой сельской девушкой. Нет, не боязливой, а именно застенчивой, стеснительной, для которой не так-то просто отвести душу в разговоре с однокурсницей и совсем уж невозможно принять приглашение пойти вечером в кино от случайного соседа в институтской читальне. (Был такой эпизод, и хотя парень — веселый курносый блондин — Паше понра-

вился, вместо ответа она демонстративно уткнулась носом в учебник.)

Эту застенчивость усугубляло и то, что Паша считала себя по сравнению с нарядными москвичками чуть ли не дурнушкой, на которую ребята всерьез внимания обращать не станут, разве что так, от нечего делать. И очень бы удивилась, если бы ей кто-нибудь сказал, что это не совсем так, а вернее — совсем не так. Действительно, Паша была из тех, кого называют птичка-невеличка. Ну и что? Зато вся ее стройная, миниатюрная фигурка была удивительно пропорциональна, а походка необычайно легка.

— Ты, Паша, по ржаному полю пройдешь и колоска не заденешь, — сказала ей как-то с завистью Вера Кулябко, девица рослая и плечистая, на которую в трамвайной давке косились с опасением даже мужчины.

Пушистые темно-русые волосы Паша стригла коротко, почти по-мальчишески, такую прическу носили тогда многие девушки. Лишь на четвертом курсе перед выпускным вечером поддалась она уговорам подруг и за компанию с ними сделала себе перманент. Так они и сфотографировались в тот день вчетвером: все разные, а кудряшки-челочки, словно приклеенные к голове, одинаковые.

Для тех ребят, которые ходили знакомиться с девушками на танцы в Сокольники, Савельева, точно, большого интереса не представляла. Неброские, мягкие черты лица, по-детски пухлые губы, слишком серьезные карие глаза. Обычное, вроде бы ничем не примечательное лицо. Но в лице этом, очень русском и очень девичьем, была своя прелесть, скрытая если не для всех, то, уж во всяком случае, явная не для каждого. Но сама Паша всех этих достоинств за собою не знала, а зеркало каждое утро показывало ей ничем не примечательную — так себе! — провинциальную девушку.

Еще приводили порой Пашу в смущение ее более чем скромные туалеты. Жить приходилось нелегко, стипендии едва хватало на самое необходимое, на помощь от матери рассчитывать не приходилось, наоборот — Паша всячески хитрила, чтобы самой выкроить к концу месяца хоть несколько рублей и отослать их домой. А между тем кое у кого из Пашиных подруг в ходу уже были и крепдешин, и даже туфли-лодочки, а у ребят появились широкие, в ладонь, шелковые галстуки, повязанные толстым узлом.

Удобства быта в ту пору уже не противопоставлялись героике эпохи. А она продолжала быть эпохой героев. И каждое утро газеты называли все новые и новые имена. К вечеру их уже знала наизусть вся страна: от мальчишек-пионеров до ветеранов-буденновцев — Валерий Чкалов и Никита Карацупа, Паша Ангелина и Алексей Стаханов, Отто Шмидт и Владимир Коккинали. Метростроевцы. Полярники. Девушки-парашютистки. Бойцы Хасана.

С восторгом и удивлением читала о них Савельева, а в голове не укладывалось: как же это они смогли? Или это какие-то особые люди? И у них вместо нервов стальные провода, а вместо сердца пламенный мотор, как пелось в песне?

Однажды на Арбате, возле разукрашенного хохломскими узорами табачного магазина, Паша увидела почтительно-суетливую стайку мальчишек. Впереди, неторопливо переваливаясь, вышагивал коротенький толстый человек, уже очень немолодой. Подбитый мехом кожаный реглан и пушистая пыжиковая шапка делали его похожим на медвежонка. У человека было круглое добродушное лицо с маленькими хитрыми глазками, над верхней губой смешно топорщилась щеточка усов. От всей его фигуры так и веяло спокойствием, уверенностью и весельем.

Один раз какой-то суетливый пацан лет восьми едва не попал ему под ноги. Человек остановился, присел на корточки и соорудил зверскую физиономию. Мальчишка в восторге заверещал, а толстый человек хмыкнул и зашагал дальше. Прохожие останавливались и смотрели ему вслед. На углу улицы человек в реглане свернул налево по Суворовскому бульвару и скрылся в подъезде большого желтого дома, известного в Москве как Дом полярников.

И тут только Паша покраснела, сообразив, что она шла за этим человеком вместе с мальчишками, с которых, как известно, спрос невелик. Она вглядывалась в лицо человека, известного всему миру, и не заметила в нем ничего примечательного, тем более героического. Обыкновенный веселый толстый человек, которого явно смешит (хотя и чуточку нравится) собственная слава. А ведь сам Папанин! Первый живой герой, которого увидела Паша на своем веку.

Много позже какой-то молодой доцент привел на институтский вечер своего школьного приятеля. Приятель оказался высоким бравым брюнетом, которому очень шла синяя летная форма. В петлицах френча рдело по алой шпале, а над левым карманом поблескивал золотом и эмалью новенький орден Красного Знамени.

«Он был в Испании!» — сказал кто-то шепотом Паше. О тех, кто воевал в Испании, тогда говорили только шепотом. Во время концерта Паша сидела совсем рядом с летчиком и украдкой то и дело косилась в его сторону. И тоже не разглядела в нем ничего необычного. Правда, красивый, но ведь красивых ребят и у них в институте немало, никаких не героев. А уж Папанинато и вовсе никак не назовешь красавцем.

Ее собственные подвиги закончились на том, что она выполнила нормы всех оборонных значков: ГТО, ГСО,

ПВХО и «Ворошиловского стрелка». Очень хотелось получить и значок парашютиста, но в аэроклуб ее не приняли: девушек, желающих прыгать, было столько, что Пашина очередь подошла бы разве к пенсионному возрасту.

Довольно трудно было сдать нормы на значок ПВХО. Зачеты принимал курсант из военного училища — в порядке комсомольского шефства. Был он совсем молоденький, моложе своих кружковцев. Очень стеснялся своей молодости и потому был отчаянно строг и придирчив. А Паша, как нарочно, на зачете перепутала иприт с люизитом и еле-еле выпуталась. Зачет все же получила, хотя комсорг и сказал ей с укоризной: «Что же ты, Савельева, чуть весь курс не подвела». Паша оправдывалась тем, что химия ей плохо давалась еще в школе.

Подошел наконец и тот единственный, неповторимый день, когда Паша сдала в канцелярию деканата изрядно потрепанный за четыре года студенческий билет. А потом пришлось немало побегать по институту с обходным листом, в незапамятные времена еще метко прозванным «бегунком».

Библиотека (все книги сданы) — штампик хлоп, профком (взносы уплачены) — хлоп, спортклуб (форма сдана) — хлоп, касса взаимопомощи (долгов нет) — хлоп, хлоп, хлоп...

Потом торжественная церемония вручения новеньких, в пахучих дерматиновых корочках дипломов, прочувствованные слова декана, речи, торопливый обмен адресами с однокурсниками и шумный вечер-складчина в институтской столовой, где по такому особому случаю вместо клеенок постелили на столы белые скатерти. Потом долгое шатание по предрассветной Москве, танцы под патефон, который невозмутимо нес на руках муж Веры Кулябко (только на вечере выяснилось, что

у нее — вот так раз! — есть муж, студент из Бауманского), и хохот, и песни, и веселая перебранка где-то на Остоженке с подвыпившим, невзирая на ранний час, дворником-татарином.

Дворник грозился разогнать их «бранбоем», но, когда его угостили пивом из бумажного стаканчика, успокоился и даже стал показывать Верину мужу приемы татарской борьбы.

О назначении Паша уже знала — Луцк в Западной Украине, в областной Волинский банк. Города Луцка никто в институте не знал (студентов оттуда еще не было), но говорили, что город красивый, а сама банковская работа там должна быть интересной, так как советские учреждения и предприятия в Луцке только организовывались, а процесс этот, естественно, связан с финансами. Отсюда следовало, что для молодого специалиста в Луцке хорошие перспективы. Не то что в каком-нибудь старом банке, где каждый счетовод сидит на своем стуле по двадцать лет.

Словом, Пашиному назначению многие даже завидовали, да и сама она, в общем, была им довольна.

Луцк так Луцк. А пока что месяц положенного отпуска в Ржеве.

Домой Паша ехала со смешанным чувством радости и тревоги. Ну радости — это понятно, а тревоги — за мать. До Ржева от Москвы все же рукой подать, да и по деньгам доступно, а Луцк — совсем другое дело. Евдокия Дмитриевна в последнее время чувствовала себя плохо — разболелись ноги. К тому же Паша вообще не хотела больше расставаться с матерью. Девушка знала, что и мать с великой радостью поселилась бы с младшей дочерью, бессемейной, но в то же время понимала, что человеку пожилому, особенно деревенскому не так-то легко двинуться на новое место, оставить

обжитой угол, хозяйство, соседей, словом, все привычное, с чем за годы сроднился.

Но разговор с матерью оказался легче, чем Паша предполагала. Предложение дочери Евдокия Дмитриевна приняла сразу, без особых колебаний, но, как человек рассудительный и практичный, предложила так:

— Поезжай, доченька, для начала одна. Получи квартиру, осмотришься. Напиши, какую квартиру дадут, в городском доме или с хозяйством. Напиши, что продать, а что из имущества и на новом месте пригодится.

Луцк Паше понравился. Конечно, не Москва, но дома в центре каменные, двух- и трехэтажные, красивые. Много церквей — и католических, и православных. Населения в Луцке, по статистике, вроде и не очень много, но на улицахлюдно. Смутила поначалу многоязычность: местные жители одинаково свободно говорили и по-украински, и по-польски, и по-русски. Но потом Паша успокоилась. Польский она знает, украинский учит. Вспомнила, как не давался ей поначалу в институте немецкий, как отставала от однокурсниц, а потом догнала и даже вперед вышла. Преподавательница — Альма Густавовна — уж на что строга была, и та отметила, что у Савельевой отличное произношение. А тут украинский, почти как родной. Осилит.

Понравилась Паше и река Стирь. Странная немного, никак не поймешь, откуда и куда она течет, где ее главное русло — так она ветвилась и петляла по городу. Хорошо и то, что много зелени, деревья могучие, широколиственные, посаженные в незапамятные времена.

С некоторым удивлением узнала Паша, что маленький город Луцк старше Москвы, так как упоминается в древних летописях с 1085 года, что деревянную крепость над Стирью основал великий князь киевский Владимир. Крепость эту, однако, дотла спалил татар-

ский хан Бурундай. А еще через сто лет здесь начал строить уже каменный замок литовский князь Любарт, и, хотя достроили его при других князьях — Витовте и Свидригайле, — за крепостью в народе навсегда осталось название «замок Любарта».

Горел потом замок еще не раз, но белокаменные стены его с тремя башнями по углам по-прежнему горделиво возвышались над городом.

Квартиру дали Паше хорошую, на зеленой уютной улочке, которой удивительно подходило ее название — Спокойная. Считалась она по Луцку далеко не центральной, но до работы было рукой подать.

Помня наказания Евдокии Дмитриевны, Паша сходила на базар, узнала цены. Против московских все было дешево, и на Пашину скромную зарплату, она рассчитала, прожить вдвоем с матерью можно было вполне прилично.

Обо всем этом Паша и написала в Ржев, а вскоре уже встречала гостей: Евдокия Дмитриевна приехала вместе с внучкой и сестрой. Ефросинья Дмитриевна решила тоже съездить в Луцк, помочь родным устроиться на новом месте.

Так и жили они спокойно на Спокойной улице. До 22 июня 1941 года.



Шли дни. В середине июля напротив дома, где жили Галушко и Шура, немцы окружили большую территорию, где стояло несколько полуразрушенных до-

мов и барачков, рядами колючей проволоки и поставили по углам вышки с пулеметами и прожекторами. Потом сюда пригнали несколько тысяч советских военнопленных.

Не привели, а именно пригнали под охраной эсэсовцев с автоматами и огромных, рвущихся с поводков собак. У девушек все в душе перевернулось, когда они увидели этих первых в Луцке пленных: оборванных, разутых, голодных, обессиленных. Многие в грязных, окровавленных бинтах.

Из окрестных домов повысыпали люди, дети испуганно жались к матерям, женщины плакали, подбегали к колонне, пытались сунуть пленным кто кусок хлеба, кто несколько картофелин.

— Цурюк! — орали на них эсэсовцы и отгоняли беспощадными ударами прикладов.

Все реже теперь женщины, встречавшиеся то у Марии Григорьевны, то у Дунаевой, говорили о домашних делах. Все чаще и чаще их разговоры переходили на одну и ту же тему — пленные... То, что творится в лагере, ни для кого из горожан не было секретом. Все знали: гитлеровцы уничтожают советских военнопленных. И открыто — расстреливая за малейшую провинность, и в более скрытой форме — лишая их медицинской помощи, моря голодом, непосильной работой. Особенно усилилась смертность среди пленных, когда подошли ранние в тот год осенние холода. Из окон квартиры Галушко было видно, как каждый день из ворот лагеря выезжает телега с трупами, прикрытыми сверху брезентом.

Однажды Мария Ивановна прибежала к Галушко необычно возбужденная. Еле отдышавшись, сказала:

— Слышали, что объявили про пленных?

Нет, ни Мария Григорьевна, ни Шура, ни Паша еще ничего не слышали. И Мария Ивановна рассказала.

Рассказ ее, поначалу показавшийся Паше невероятным, вскоре подтвердился официальными сообщениями оккупационных властей. Немцы объявили, что освободят из лагерей часть военнопленных, но на определенных условиях. В этом «но» и заключалась вся суть.

Освобождались бойцы только украинской национальности, если, во-первых, они не были коммунистами и, во-вторых, если за них давал поручительство специально созданный комитет помощи — «допомога». В «допомоге» для этого образована мандатная комиссия, председатель которой, конечно, немецкий офицер, а члены — видные националисты.

В Луцке в ту пору выходила одна газета «Дойче украинише цайтунг» на немецком языке и распространялась «Волянь», издаваемая в Ровно на украинском языке. Редактором ее был прибывший из Берлина известный бандеровец Улас Самчук. Как ни странно, но подлинный смысл «освобождения» пленных Паша осознала именно из чтения этих фашистских листков. В обоих одновременно появились статьи, в пышных и умилительных выражениях разъяснявшие читателям, что фюрер и Великонеметчина только и пекутся о том, чтобы освободить трудолюбивый украинский народ от гнета «московских большевиков-комиссаров». Далее весьма недвусмысленно следовало: фюрер и Великонеметчина, в свою очередь, рассчитывают на поддержку благодарного украинского населения в борьбе с большевизмом.

— Провокация это, Мария Ивановна, голубушка... — сказала Паша Дунаевой при очередной встрече. — Хотят украинцев на русских натравить. Вроде бы Советская власть не их собственная, народная, а Москвой поставленная, Россией.

— Ну это у них не получится, — решительно возра-

зила Галушко. — Люди наши не дурные, что к чему разберут.

— Так-то оно так, — согласилась Паша, — только немцы тоже быстро разберут, что ничего им эта затея не даст...

— Вот что, Прасковья, — потребовала Мария Григорьевна. — Выкладывай, что надумала. Я же чувствую, неспроста ты этот разговор завела.

— И верно, надумала, — Паша засмеялась. — И вот что. Пока немцы это самое освобождение не прикрыли, а прикроют обязательно, сколько наших может из-за проволоки вырваться! И не только украинцев. Многие пленные свои имена настоящие, звания воинские скрывают. А немцы формалисты. Для них, если у человека фамилия Петренко, — значит украинец, а он на самом деле русский...

Шура подхватила Пашину мысль:

— Так это же можно любого Иванова в Иванченко или Иванюка перекрестить.

— Можно! Вот только как — не знаю еще. Давайте подумаем. Такую возможность нашим помочь упускать грех.

Шура вдруг замялась:

— Понимаешь, Паша не говорила я тебе, но тут случай у меня один вышел. Может, пригодится... Виктор я встретила...

«Случай» действительно мог оказаться полезным.

Виктор был старый знакомый Шуры и до своего призыва в армию в сороковом году очень за ней ухаживал. В первые же дни войны он попал в плен и очутился в конце концов в луцком лагере. Происходил он из обрусевших немцев — таких на оккупированной территории называли фольксдойче, гитлеровцы рассматривали их как свою опору и предоставляли им определенные, весьма существенные льготы. Поскольку Виктор знал

немецкий язык, да и по документам был немцем, его сделали в лагере переводчиком, ему разрешалось даже выходить в город.

Шура прямо спросила Виктора, почему же он не бежит. Тот объяснил, что его положение дает ему возможность помогать пленным товарищам. По ее, Шуриному, мнению Виктор говорил вполне искренне.

— Найти его сможешь? — спросила Паша.

— А что его искать? — несколько смутившись, ответила Шура. — Он сам обещал завтра вечером зайти, если будет свободен.

Виктор зашел...

Угостив его чаем и поговорив для приличия часок о всякой всячине, Шура пожаловалась ему, что она и ее подруга никак не могут устроиться на работу.

Виктор пообещал Шуре переговорить с начальником лагеря обер-лейтенантом Арлтом, который, как ему доподлинно известно, подыскивает нескольких девушек на писарские должности в комендатуру.

Обещание он сдержал, и по его рекомендации обе девушки через несколько дней были зачислены писарями в лагерь военнопленных.

Служебные обязанности их оказались несложными. Документы на освобождение, в том числе персональные бланки, были двуязычными. Немецкие писари заполняли одну половину бланка на немецком языке, девушки — идентичную вторую половину на украинском. Вначале документ попадал к ним, поскольку писари-солдаты украинского языка не знали и попросту переписывали украинские фамилии в немецкой транскрипции. В случае каких-либо затруднений, если фамилия попадалась очень уж заковыристая, к ним на выручку приходил переводчик, тот же Виктор. Обер-лейтенант Арлт, подписывая заполненный бланк, никогда не сверял его со списком, поступившим из мандатной комис-

сии: это заняло бы слишком много времени, да и украинского языка он тоже не знал.

Таких людей, как этот самый Арлт, Паша никогда раньше не встречала, это был не человек, а автомат, от рождения лишенный каких-либо эмоций. Прикажи ему, обер-лейтенанту Арлту, расстрелять всех пленных — расстрелял бы не задумываясь. Но в данном случае он получил распоряжение освобождать бойцов украинского происхождения — он и освобождал. Потому что превыше всего на свете почитал «орднунг» — порядок, а порядок для него означал — приказ. Ему и в голову не приходило, что в каком-либо звене вверенной ему лагерной канцелярии порядок может быть нарушен.

За несколько дней работы Паша убедилась, что дополнять списки на освобождение вполне возможно, нужно только для правдоподобия видоизменять фамилии на украинские и подделывать некоторые другие данные.

Вот только кого освобождать? Прямого контакта с пленными у Паши и Шуры не было, а те изнеможенные от ран, голода и холода бойцы, которых они встречали на пути к канцелярии и обратно, смотрели на девушек с таким нескрываемым презрением, что заговорить с ними было невозможно. Да и ни к чему: не поверили бы, сочли за провокацию.

Пришлось снова обратиться к Виктору. Разумеется, девушки не сказали ему, что действуют по поручению фактически уже сложившейся подпольной группы. Просто при случае завели разговор о том, что, дескать, жалко своих русских ребят, которым за колючей проволокой одна дорога — на тот свет. А ведь можно им и помочь...

— Это верно, — вздохнул Виктор. — Помочь можно... Но кому? Мне они не очень доверяют, большинство просто предателем считает. А говорить с кем попало нельзя, если нарвешься на «стукача» — конец...

Виктор перебрал десятки людей, пока не пришел к

выводу, что есть в лагере один парень, бывший однополчанин, с которым можно поговорить откровенно.

Переводчик устроил встречу этого человека с Пашей. Сослуживец Виктора слушал девушку молча, не перебивая ни единым вопросом, вообще никак не высказывая своего отношения к ее предложению.

— Хорошо, — только и сказал он. — Посоведуемся с ребятами. Сама ни с кем больше не знакомься. Как решим, дадим знать.

С кем советовался этот совсем молодой парень, в петлицах которого заметны были следы от сержантских треугольничков, Паша так никогда и не узнала. Но на следующий день он случайно попался ей утром и, почти не шевеля губами, но отчетливо произнес: «Михаил Пономарев, Олег Чаповский, Михаил Неизвестный».

Первая операция, как, впрочем, и последующие, сошла благополучно. Не вызвав ни малейшего подозрения немецких писарей, привыкших к присутствию в канцелярии двух робких местных девушек, Паша и Шура внесли в списки три лишние фамилии. Летчик Пономарев при этом стал Пономаренко, танкист Неизвестный остался при своей фамилии. Сложнее обстояло дело с Олегом Чаповским — фамилия его годилась, но он был командиром. Паша, однако, не растерялась, сделала так, что пленный командир Чаповский из списков содержащихся в луцком лагере вообще исчез: вместо него «воскрес» умерший от ран красноармеец Олекса Харченко. С документами на его имя Чаповский и вышел на свободу.

Невысокий, цыганистого вида крепыш Неизвестный, когда получал свою справку, шепнул Паше:

— Того, с кем виделась, не ищи. Пока весточки от нас не получит, что все в порядке... И не обижайся. Понятно?

Паша не обижалась. Ей все было понятно.

Пленный сержант встретился лишь через три дня и незаметно сунул в руку крохотный бумажный шарик.

Значит, те трое ушли. И дали знать о себе оставшимся товарищам. Ей, Паше, поверили. Вот оно доказательство — туго скатанный листок бумаги с новыми фамилиями...

Почти ежедневно теперь три-четыре человека покидали лагерь без ведома пресловутой мандатной комиссии, но с каждым днем все сильнее и сильнее беспокоила Пашу мысль: что ожидает вчерашних пленных?

Справка об освобождении — документ ненадежный. Гитлеровцы, как только поймут, что их пропагандистская кампания провалилась, без особого труда сумеют вернуть обладателей этих справок обратно за колючую проволоку. К тому же люди стремились вырваться на свободу отнюдь не для того, чтобы осесть в Луцке тихими обывателями. Они мечтали о партизанских отрядах, боевом подполье. Значит, их нужно обеспечивать и после освобождения, в первую очередь официальными документами: аусвайсами и мельдкартами.

Этимися соображениями Паша поделилась с Галушко — и попала точно по адресу.

— Есть такой человек, и как я о нем сама раньше не подумала! — Мария Григорьевна от досады даже руками всплеснула. — Работает у нас в стереотипном отделении Ткаченко Алексей Дмитриевич. Инженер, но от немцев это скрывает. В армию его не взяли по болезни, кажется, у него туберкулез. Я его еще мальчишкой помню, надежный человек.

В ближайшее воскресенье Ткаченко пришел к Галушко. Это был высокий рыжеватый человек лет тридцати, неторопливый в движениях, предпочитавший больше слушать, чем говорить самому. То ли Мария Григорьевна объяснилась с ним достаточно откровенно, то ли сам он был достаточно догадлив, но, когда Паша

закончила свою речь, Ткаченко очень буднично, вовсе не претендуя на эффект, вынул из кармана и положил на стол ...стопку чистых аусвайсов.

— Здесь шесть штук.

Затем уже из другого кармана он извлек столько же мельдкарт. Спросил:

— Сколько комплектов вам нужно еще? Так, чтобы не вызвать подозрения, я могу доставать десять-пятнадцать в неделю...

Паша смотрела на документы, не веря своим глазам. Потом подняла глаза на Ткаченко.

— Это очень опасно?

Тот пожал плечами.

— Когда как. Охранники разные. Одни бдят, другим на все наплевать. Если не зарываться слишком, смогу продержаться долго.

— А как с печатью?

Ткаченко покачал головой:

— Это уже не по типографской части. Я вырезать не умею, лишен, к сожалению, художественных способностей. Тут нужно искать подходы к гебитскомиссариату.

Паша задумалась, не очень уверенно сказала:

— Есть у нас одна женщина, она как раз там работает. Только человек она маленький — уборщица...

Ткаченко внезапно оживился:

— Маленький? Я, между прочим, тоже не заведующий складом готовой продукции, а всего лишь чернорабочий. Давайте-ка сюда вашу уборщицу...

Алексея Дмитриевича познакомили с Анной Авксентьевной Остаплюк.

От нее Паша узнала о дальнейших событиях.

— Ну и бес этот рыжий Алешка, только с виду мужчина обстоятельный, а сам сущий бес и есть. Сначала обо всем меня выпросил, кто когда приходит, когда

уходит, где чей кабинет. Очень обрадовался, как я сказала, что комнаты убираю вечером, а в помещении только один охранник у дверей. Он, когда я заканчиваю, все обходит и двери за мной запирает. А пока я полы там мою, пыль вытираю, он себе у двери сидит, под ногами не путается. Алешка и научил меня. Захожу я, стало быть, в кабинет самого Линдера, гебика, и окно, створку одну, открываю. А он уже внизу ждет. Через окно и шасть в кабинет. Поковырял чем-то в письменном столе, ящик выдвинул, потом другой. Печать нашел и шлеп, шлеп по своим бумажкам. Потом запер все, как было, — и в окно. Только я его и видела. Ну, я створку за ним на шпингалет заперла, подоконник мокрой тряпкой протерла, как он сказывал, чтобы следов не осталось. Тут и делу конец...

— Ну и ну! — ахала и удивлялась вместе с Анной Авксентьевной Паша.

Большинство освобожденных пленных уходило в леса, к партизанам. В дорогу их снабжали не только документами, но и гражданской одеждой, продовольствием на два-три дня пути, если требовалось — медикаментами. Но некоторые оставались в городе, примыкали к подполью. Остался и самый первый крестник Паше — чернявый танкист Миша Неизвестный. Потом появился еще один примечательный человек — майор Петров.

Много людских судеб прошло перед Пашей за время ее работы в лагере, всякого нагладелась и наслушалась. Но этот двадцатилетний майор хватил за несколько военных месяцев столько, что оставалось только диву дивиться, как выжил, не сломился, не пал духом. Петров попал в плен тяжелораненым, без сознания. Когда оправился, бежал. Его поймали — он снова бежал. Так повторялось несколько раз. Последний побег Петров совершил из луцкого лагеря. Отпра-

вить его в лес было немыслимо — не дошел бы, так ослаб от голода и избиений. Его укрыла у себя Остаплюк.

Не переставала удивлять Пашу Анна Авксентьевна: когда привели к ней едва на ногах стоявшего Петра, у нее в доме уже укрывались восемь раненых красноармейцев! Среди них было два узбека — попро-буй выдай их в случае обыска за местных украинцев!

Семерых бойцов, когда они выздоровели, позже переправили к партизанам. Восьмой — Николай Громов — умер от тифа. Его документы с соответствующей справкой об освобождении были переданы Петрову, тоже Николаю.

Всему, как говорится, приходит конец. Немцы, не добившись никакого эффекта, кампанию по «освобождению» прикрыли. Девушки снова оказались безработными, потом с помощью Дунаевой устроились уборщицами в немецкое подсобное хозяйство — гебитсланд-виршафт. А весной 1942 года Пашу вызвали повесткой на биржу труда.

Вызов на биржу труда не сулил ничего хорошего. Повестка могла означать и самое страшное — насильственную мобилизацию в Германию. Уклониться от явки было невозможно — привели бы с полицией. Не приходилось помышлять и о бегстве к партизанам: в этом случае неминуемо пострадала бы семья. Пришлось идти.

Страшного, к счастью, ничего не произошло. Оказалось, что немцы решили открыть в Луцке банк и мобилизовывали на работу туда бывших служащих, разумеется, на должности гораздо более скромные, чем те, которые они занимали раньше. Савельева, к примеру, с ее высшим образованием была назначена всего-навсего кассиром. Здраво обсудив это событие, Паша и ее

товарищи по подполью рассудили, что должность касира при всей ее скромности может оказаться весьма полезной. Для подполья маленьких должностей не существует — истина, которую Паша хорошо усвоила на примере деятельности Остаплюк и Ткаченко.

К этому времени Савельевы сменили и место жительства. Их дом на Спокойной приглянулся какому-то оккупационному чиновнику, пришлось им перебираться в две пустующие комнатенки на Хлебной улице, 14.

Отношения в подпольной группе сложились так, что хотя никто их не выбирал и не назначал, но Паша, Алексей Ткаченко и Николай Петров-Громов стали признанными руководителями. Именно они распределяли обязанности, давали задания, принимали планы и решения.

Однажды, когда они сидели втроем, Ткаченко сказал:

— А знаете, друзья, в городе, кроме нас, действует еще одна подпольная группа.

Это никого не удивило: в последнее время по Луцку стали ходить листовки со сводками Советского командования, к которым никто из Пашиной группы отношения не имел.

— Так вот, — продолжал Ткаченко, — мне удалось связаться с их руководителем, человек прекрасный, из кадровых военных. И в группе у них все поставлено по военному. Есть приемник. Полагаю, что нужно наладить контакт с ним.

Ткаченко поручили устроить встречу, и через несколько дней Алексей привел нового товарища по борьбе с оккупантами.

И Паша не удержалась от возгласа изумления, когда узнала в нем того красивого молодого парня, который в страшный июньский день несколько часов шагал рядом с ней по Киверецкому шоссе.



Да, к моменту этой неожиданной встречи (которая поразила его не меньше, чем девушку) бывший командир-пограничник Виктор Васильевич Измайлов уже несколько месяцев и сам руководил группой тщательно подобранных людей.

Жизненный путь Виктора Измайлова сложился необычно. Он родился в 1916 году на Алтае в городке со странным названием — Змеиногорск. Отец его — заведующий гороно — умер, когда мальчику было шесть лет, а в четырнадцать Виктор осиротел совсем. Воспитывался в детдоме в Омске. Там же потом учился в школе ФЗО водников. Окончив ее, работал радистом на судах знаменитой Карской экспедиции. Потом была служба в погранвойсках, снова учеба. В тридцать девятом году Измайлова приняли кандидатом в члены партии, в сороковом он уже был старшим лейтенантом.

А потом с ним случилось нелепое происшествие... Виктор пошел с девушкой в ресторан в форме. К ней пристали какие-то пьяные хулиганы. Одного из них он ударил... Разразился скандал. Горячий Измайлов не сумел доказать свою правоту и оказался вне армии. В феврале 1941 года Виктор приехал в Луцк, где у него были родственники, и по направлению горкома партии стал работать в ремесленном училище военруком. В первый же день войны он явился в военкомат. Военком, заглянув в его личное дело, поспешил заявить, что Измайлов «не в его компетенции».

Вместе с тысячами горожан Виктор пытался уйти из города по Киверецкому шоссе и, как мы уже знаем, не успел. Пришлось вернуться.

Регистрацию в магистрате Измайлов прошел спокойно — помогла репутация «обиженного», без особых затруднений устроился работать грузчиком на мельницу. И немедленно начал организовывать подпольную группу. Собственно, он и устроился на мельницу, чтобы иметь возможность появляться в разных районах города, не вызывая никаких подозрений. К тому же телега... Как-никак транспорт. Могла впоследствии и пригодиться.

Как ни похвалялись немецкие газеты, что к зиме доблестная армия фюрера дойдет до Урала, Виктор ни разу не усомнился, что окончательная победа будет за советским народом. Однако он достаточно трезво смотрел на вещи и понимал: предстоит долгая, кровопролитная борьба не на жизнь, а на смерть. И эта борьба будет проходить не только на фронтах, но и здесь, в тепер уже глубоком тылу врага.

Постепенно вокруг него сложилось крепкое ядро людей, готовых к такой борьбе. Были здесь и военные — окруженцы, и бывшие пленные, бежавшие из лагерей, были и сугубо гражданские лица, коммунисты и комсомольцы, среди последних — несколько его учеников из ремесленного училища.

Для начала Виктор проследил, чтобы все подпольщики группы легализовались в городе, нашли работу. Сам разработал сложную систему конспирации. Постарался завязать знакомства, которые в будущем могли бы пригодиться для разведывательной и диверсионной работы. Много усилий потратили подпольщики, чтобы обеспечить себя оружием. Его собирали в окрестностях города, в разобранном виде приносили в Луцк, здесь очищали от ржавчины, приводили в порядок и прята-

ли. Один из подпольщиков сберег, невзирая на строжайший запрет, не слишком мощный, но вполне исправный радиоприемник «СИ-235». Громоздкую коробку его пришлось сжечь, иначе радио было бы трудно прятать, но это, конечно, ничуть не мешало принимать Москву.

Буквально за несколько часов до прихода немцев Измайлов предусмотрительно забрал из училища пишущую машинку. Теперь на ней печатали листовки, в которых сжато рассказывали о положении на фронтах, о партизанской борьбе, охватившей, как теперь знали подпольщики, территории Советского Союза, временно оккупированные гитлеровцами. Листовки выпускали лаконичными и небольшими по размеру, такие легче было запоминать и передавать из рук в руки, да и бумага — предмет весьма дефицитный — экономилась.

Подпольщики разбили весь город на участки. Каждый постарался как можно лучше разведать свой район, и вскоре Измайлов располагал планом Луцка, на котором довольно подробно были обозначены дислокация гарнизона, размещение важных фашистских учреждений, военных объектов, домов, где жили высшие чины оккупационной администрации.

Словом, подготовительная работа была проведена солидно и основательно, но от более активных действий Измайлов пока воздерживался, хотя подпольщики так и рвались в бой. Как-то товарищи даже обвинили его в медлительности. Он вспыхнул, но сдержался: Виктор не имел права никому рассказывать, что он ждет сигнала.

Дело в том, что в конце сорок первого года Измайлов случайно встретил в Луцке своего бывшего сослуживца. Тот отлично знал все обстоятельства случившейся с Измайловым беды, в свое время пытался ему помочь и уж, во всяком случае, абсолютно верил в его

честность. Оба обрадовались встрече, а вскоре, хотя и не вдруг, между ними произошел откровенный разговор. Товарищ, как оказалось, находился в Луцке не волею судьбы, а с определенным заданием, в суть которого он, однако, Виктора посвящать не стал. Теперь ему предстояло вернуться через линию фронта к своему командованию. Перед уходом он предложил Измайлову поставить его подпольную группу на выполнение разведывательной работы для Красной Армии. В нее должны были входить сбор политической и экономической информации, диверсии на железной дороге и линиях связи врага, политическая работа среди населения, подбор надежных людей для партизанских отрядов и прочее.

Измайлов с радостью принял предложение, о котором мог только мечтать. И он ждал...

Проходили недели и месяцы, но сигнала все не было.

И Виктор начал действовать самостоятельно...

Сразу прибавилось работы у шефа луцкого гестапо доктора Фишера. До сих пор ему приходилось выискивать только тех, кто распространяет в городе большевистские листовки. Теперь же его следователи одно за другим заводили все новые и новые дела о саботаже, диверсиях в железнодорожном депо и на электростанции, о выведенных из строя армейских грузовиках и даже об убийствах солдат и офицеров вермахта на улицах Луцка.

Объединение групп Измайлова и Савельевой означало создание в городе сильной, разветвленной, хорошо отлаженной подпольной организации. Отношения между Виктором и Пашей с самого начала были основаны на том безотчетном, но в то же время сознательном доверии, без которого невозможно работать в тяжелых условиях оккупации. Быть может, этому способствовала та ниточка дружелюбия и взаимного расположения,

которая завязалась между ними еще на Киверецком шоссе. В деловом же отношении они как нельзя удачно дополняли друг друга.

Измайлов, безусловно, был первым, когда речь шла о замысле и разработке операции, безразлично, разведывательного или диверсионного характера, но зато Паша лучше его не то чтобы знала, а чувствовала людей. Иногда она даже не могла самой себе выразить, почему надо отдать предпочтение тому, а не другому члену организации, но тем не менее выбор ее в конечном счете всегда оказывался безупречным.

Единственное, чего никак не мог одобрить Измайлов, так это того, что Паша принимала личное участие в боевых операциях. Но запретить этого он ей не мог — Паша твердо стояла на том, что она обязана, просто обязана как комсомолка не только руководить, но собственноручно уничтожать фашистских оккупантов. И Виктор Измайлов ни за что не признался бы самому себе, что он не одобряет эти ее действия не только из-за соображений целесообразности, но и тревожась за ее жизнь.

Ни он, ни она никогда не говорили об этом, но оба чувствовали, что отношения между ними как-то незаметно перерастают рамки взаимной симпатии. Оба боялись этого невысказанного, но растущего чувства, боялись, что оно может помешать их работе.

Главными боевиками группы стали Николай Петров-Громов и Михаил Неизвестный, оба владевшие немецким языком. Худощавый, нервный, резкий в движениях и манерах Николай Громов был поразительно смелый человек и к тому же меткий стрелок. Он специализировался на истреблении фашистских офицеров.

Громов уничтожал гитлеровцев не подряд, а с большим выбором. Обычно он, переодетый в немецкую форму или в хорошем штатском костюме, часа два гулял

под руку с Пашей по центральным улицам города и скверам, приглядываясь к встречным гитлеровцам, пока наконец не останавливал свой выбор на каком-нибудь крупном чине СС или видном чиновнике. Потом он прощался с Пашей и шел следом за офицером. Иногда охота длилась несколько часов, иногда несколько минут. Но в любом случае кончалась одинаково: негромким пистолетным выстрелом и очередным рапортом дежурного сотрудника гестапо своему шефу доктору Фишеру, что неизвестный террорист скрылся.

Однажды, прогуливаясь по Герингаллее, он вдруг резко остановился, словно споткнулся обо что-то, и больно сжал Пашин локоть:

— Что с тобой, Коля?

— Тихо, — даже не сказал, а прошипел Громов.

Паша подняла к нему лицо, и ей показалось, что она никогда раньше не видела человека, с которым шла сейчас рука об руку. Через несколько секунд Громов взял себя в руки, уже спокойно сказал:

— Видишь того капитана, высокий, худой, стоит к нам боком?

Паша повернула голову: возле раскидистой липы, шумевшей под осенним ветром пожелтевшей листвой, стояли и весело болтали три немецких офицера: два обер-лейтенанта и капитан, на которого обратил ее внимание Громов.

— Так вот, — тихо продолжал Громов, — если бы ты спросила меня когда-нибудь, есть ли у тебя, Коля, мечта, я бы ответил честно: год, как мечтаю встретить этого гада... Знаешь, кто он? Людвиг Хорнер, комендант концлагеря, где я сидел. Из зверей зверь... Что он делал с нами, лучше твоим ушам не слышать и не дай бог когда-нибудь увидеть...

Все так же под руку Паша и Николай прошли мимо

трех офицеров. На какое-то мгновение взгляд Хорнера скользнул по лицу Громова, но даже не остановился на нем. Конечно, он не мог узнать в этом благополучном коммерсante истерзанного, окровавленного пленного советского командира, каким видел Николая, тогда еще Петрова, годом раньше... Не узнал. И подписал себе тем самым смертный приговор.

Закончив разговор, офицеры распрощались. Один пошел своей дорогой, а Хорнер со вторым обер-лейтенантом завернул в ближайший ресторан. И обратно уже живым не вышел. Николай Громов несколькими выстрелами из «вальтера» убил обоих гитлеровцев через раскрытое окно.

Совсем другим человеком был Михаил Неизвестный. Невысокого роста, с широкими плечами, чернявый и черноглазый, по его собственным словам, не то цыган, не то одессит, поскольку родителей своих никогда не знал и воспитывался в детдоме. Во всяком случае, он умел отлично, так, что все заходились в хохоте, рассказывать одесские анекдоты и так же превосходно петь под гитару жестокие цыганские романсы. Еще он был великим мастером на всякие фокусы и веселые розыгрыши.

Как и Громову, Неизвестному, по-видимому, было неведомо чувство страха, правда, его метод уничтожения был иным — он в отличие от Николая предпочитал холодное оружие, а именно: самораскрывающийся французский пружинный нож, найденный в кармане убитого им же немецкого летчика (видимо, сувенир из оккупированного Парижа).

...Прошло еще несколько месяцев. И вот однажды, уже глубокой осенью, в дверь домика, где жил Измайлов, постучали. Дверь открыл Виктор.

На пороге стоял невысокий мужчина средних лет, одетый бедно, но аккуратно, внешности совершенно непримечательной. В руке он держал маленький фибровый чемоданчик, с какими обычно ходят уличные мастеровые.

Человек поздоровался, вежливо приподняв свободной рукой картузик, и спросил:

— Чинить-паять не требуется ли чего?

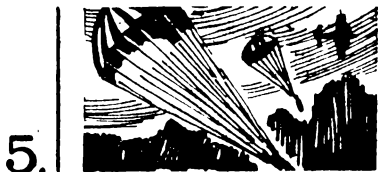
Во рту Измайлова пересохло.

— Вы можете починить примус?

— Отчего ж не могу, — весело ответил человек. — Если только горелка цела, а то нет у меня горелок, товар дефицитный.

— А мне и не нужна горелка, — так же весело сказал Виктор, пропуская человека в дверь, — у него дно прохудилось.

Это был пароль.



Появлению в доме Измайлова безымянного лудильщика предшествовали кое-какие события, имеющие непосредственное отношение к этому рассказу.

Густой августовской ночью 1942 года с одного подмосковного аэродрома тяжело поднялись в темное прифронтовое небо транспортные самолеты. Четыре часа лета — и от их бортов отделились и приземлились в глубоком тылу врага несколько десятков парашютистов — ядро особого чекистского партизанского отря-

да «Победители» под командованием полковника Дмитрия Николаевича Медведева.

После долгого и тяжелого, с боями похода отряд обосновался в Цуманских лесах между городами Ровно и Луцком. Его первоочередной целью было Ровно, избранное гитлеровцами в качестве «столицы» оккупированной Украины. Здесь находилась резиденция одного из ближайших подручных Гитлера рейхскомиссара Украины и гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха, здесь же расположились штаб начальника тыла германской армии генерала авиации Китцингера, штаб высшего СС и полицейфюрера Украины обергруппенфюрера СС и генерала полиции Прицмана, штаб главного интендантства, хозяйственный штаб группы армий «Юг», штаб командующего особыми Восточными войсками генерала Ильгена, главный немецкий суд и множество прочих, менее важных военных и административных учреждений.

Разведчики отряда собирали в Ровно и окрестностях ценнейшую информацию о военных планах немцев, уничтожали, порой среди белого дня, высокопоставленных гитлеровских генералов и чиновников. Среди этих разведчиков был и обер-лейтенант вермахта Пауль Вильгельм Зиберт — легендарный Николай Кузнецов.

Постепенно расширяясь, сфера разведывательных действий отряда охватила и Луцк — важный административный центр Западной Украины, напичканный воинскими частями, штабами, складами, различными учреждениями оккупантов и потому представлявший большой интерес для Советского командования.

Лудильщик, пришедший в домик Измайлова, был одним из разведчиков отряда «Победители».

Много месяцев прошло с того дня, когда Виктор обменялся паролем со своим бывшим сослуживцем. И у командования отряда, получившего связь с Измай-

ловым в свое распоряжение, не было, конечно, да и не могло быть никакой уверенности, что с ним за это время ничего не случилось, что он вообще жив. Тем более был обрадован посланец отряда, когда не только нашел нужного человека живым и здоровым, но и узнал, что он уже один из руководителей подпольной организации, имеющей даже «иностранный» филиал — группу польских патриотов Винцента Окорского.

Связной принес выпущенный еще до войны план Луцка, и Виктор обозначил на нем места дислокации воинских частей, штабов, складов, оккупационных учреждений, дома, где жили видные гитлеровцы и их приспешники из националистов.

— М-да... — уважительно протянул гость, — времени вы тут, как я вижу, даром не теряли.

Теперь наступила очередь говорить ему, и человек, всего лишь несколько недель тому назад ходивший по московским улицам, долго рассказывал жадно ловившему каждое слово Виктору, как живет и борется Советская страна.

Потом снова вернулись к делам. Договорились, что о связи с отрядом никто в организации, кроме Савельевой, Ткаченко и Петрова, знать не будет.

— Как будем поддерживать связь?

— К вам за информацией будут приходить наши люди регулярно, не реже раза в неделю. Каждый очередной связной будет оставлять вам пароль для следующего. Но вам тоже нужно подобрать двух-трех абсолютно проверенных товарищей на роль связных.

— Но Цуманские леса далеко.

— Так далеко вашему связному идти не придется, — успокоил гость. — В двенадцати километрах от Луцка есть польский хутор Бодзявуч, знаете?

— Знаю.

— Там у нас постоянный пост, мы его называем «зе-

ленным маяком». Дежурят круглые сутки. Ваши связные будут доставлять сообщения туда, а уж с «маяка» их переправят в отряд. Работаем не хуже нарком-связи...

Гость начертил на листке бумаги схему хутора, отметил место партизанского секрета и назвал Виктору пароль для встречи с дежурным по «зеленому маяку». Потом бумажку сжег.

Уходя, добавил:

— Насчет Савельевой. Берегите девушку. Ее пост в банке представляет ценность исключительную. Де-нежные документы всех немецких учреждений — это не шуточки. Клад!

Так начался новый, самый важный этап в истории луцкого подполья, длившийся четырнадцать долгих месяцев.

До самого конца группа не знала ни одного провала. Но однажды все же лишь счастливая случайность спасла от гибели Виктора Измайлова, и не только его.

Шла обычная, весьма частая в весну 1943 года облава, когда немцы прочесывали дом за домом намеченный район, задерживая подозрительных. На квартиру Измайлова гитлеровцы нагрянули как раз тогда, когда Виктор составлял список людей, которых предполагалось привлечь к подпольной работе. Солдаты ввалились в дверь столь внезапно, что список уничтожить не удалось, хуже того, при неловком движении Виктор выронил его из рук.

Это означало конец, и не только Виктора, но и нескольких патриотов, даже не успевших еще вступить в борьбу с врагом. Правда, оставалась микроскопическая и очень, конечно, наивная надежда, что немцы не обратят внимания на какой-то обрывок бумаги. Но высокий офицер, первым вошедший в комнату, сразу же

увидел листок, и раньше, чем Измайлов успел шевельнуться, лакированный сапог стремительно припечатал список к полу. Виктор в отчаянии покачнулся... А в следующую секунду произошло нечто совершенно непонятное: ловко шаркнув подошвой, офицер затолкнул листок под диван.

Проверив документы присутствовавших и не найдя ничего подозрительного, немцы ушли. Выходя из комнаты, высокий офицер на мгновение обернулся. Виктору показалось, что в его взгляде мелькнула укоризна...

Кто был этот человек? Этого никто не знает до сих пор. ...В середине июня сорок третьего года Виктора вызвали в отряд. Это означало, что речь будет идти о задании чрезвычайной важности, которое нельзя передать через очередного нарочного.

После обычных приветствий и расспросов командир неожиданно сказал:

— Виктор Васильевич, вы, конечно, догадываетесь, что мы вас вызвали в отряд по поводу исключительно. Дело в том, что, по некоторым сведениям, сюда, на Украину, немцы начали подвозить секретное химическое оружие...



Владимир Аристархович Боровский имел полное основание назвать себя «военной косточкой». Действительно, несколько поколений его предков и с отцовской, и с материнской стороны служили в российской армии.

Отец Боровского скончался в 1910 году заслуженным генерал-лейтенантом артиллерии, однако не менее, чем именитым отцом, гордился Владимир Аристархович и прадедом, который закончил двадцатипятилетнюю службу в николаевской армии фейерверкером, удостоенным за Севастополь трех «георгиев». В офицеры Боровский-дед выбился ценой невероятных усилий уже после крестьянской реформы.

Сам Владимир Аристархович к сорока шести годам имел за плечами две войны: мировую, которую закончил штабс-капитаном и по семейной традиции георгиевским кавалером, и гражданскую — красный полк, которым он командовал, завершил свой боевой путь в Забайкалье.

Хотя отец его, достигнув генеральских чинов, и получил потомственное дворянство, Боровский к званию этому относился иронически, не забывая, что корни его семьи, вернее, рода, самые что ни на есть, по его словам, сермяжные. Потому и расстался со своим дворянством в октябре семнадцатого года даже с облегчением. А солдаты полка, с которыми он провел в окопах более трех лет, несмотря на строгость и даже некоторую придиристичность по службе, единогласно избрали его после свержения самодержавия своим командиром.

После гражданской Боровский закончил институт стали и военную академию. Он сделал несколько важных изобретений в области артиллерийского вооружения, а несколько лет спустя блестяще защитил докторскую диссертацию, минуя кандидатскую.

Великая Отечественная война застала полковника Боровского профессором одной из военных академий и консультантом множества различных учреждений, так или иначе связанных с оборонной техникой. На фронт Боровского, конечно, не пустили: специалисты его квалификации были во сто крат нужнее в тылу.

В мае сорок второго года Владимира Аристарховича неожиданно пригласили в одно учреждение. Полковника Боровский знал, они встречались, хотя и не часто, на различных совещаниях.

Полковник принял Боровского уважительно и приветливо, поинтересовался здоровьем, семейными делами. Наконец перешел к главному.

— Владимир Аристархович, у меня к вам просьба, как к старому артиллерийскому волку. Что вы можете сказать об этом?

И полковник осторожно положил на толстое стекло письменного стола кусок изуродованной стали с острыми, зазубренными краями. Голубые, правда, уже несколько поблекшие глаза Боровского блеснули профессиональным интересом. Он повертел это в пальцах, легонько подбросил на ладони, подумал с секунду и наконец ответил:

— Полагаю, это осколок. Артиллерийского снаряда. Не нашего.

Полковник согласно кивнул головой.

— Да, это осколок. Обыкновенный осколок. Необыкновенно в нем только одно: он доставлен сюда с превеликими трудностями с оккупированной немцами польской территории, подобран на секретном полигоне. Забудьте, не на обычном полигоне, которым располагает каждый оружейный завод, а именно на секретном. Причем, как с достоверностью установили наши товарищи, новые орудия на этом полигоне не испытываются, пушки там обычные, состоящие на вооружении германской армии. Пушки не сменяются, используются для стрельбы довольно давно одни и те же. Значит...

— ...Значит, там испытываются снаряды, — закончил за полковника Боровский.

— Мы тоже так полагаем, Владимир Аристархович.

Более того, некоторые данные вынуждают нас обратить на этот полигон особое внимание. И я прошу вас вот о чем: можете ли вы по этому осколку, единственному, которым мы располагаем пока, сделать заключение о снаряде и его назначении? Потом мы его вам отдадим на столько, сколько нужно, но ваше предварительное мнение нам важно знать немедленно, чтобы предпринять кое-какие шаги...

Боровский неопределенно хмыкнул. Потом снова взял осколок в руки и стал тщательно рассматривать каждую зазубрину, каждую трещину, потом даже подошел к окну — поближе к свету, чтобы точнее уловить оттенок окалины. Минут через пять он вернулся к столу, опустился в кожаное кресло и еще некоторое время размышлял. Потом сказал:

— После визуального ознакомления, до детального обследования в лаборатории, могу сказать следующее. Снаряд, судя по внешней кривизне осколка, калибра несколько более ста миллиметров, точнее без инструмента определить не могу, а гадать не хочу, ведь немцы могли поставить на обычное орудие нестандартный ствол.

Сталь низкого качества, способна только-только выдержать выстрел. Стенки очень тонкие, их разрушит даже взрыв детонатора. Правда, для этого требуется детонатор более мощный, чем тот, какой немцы обычно ставят на снаряды подобного калибра. Снаряд испытывали без заряда, проверяли только сам стакан, о чем можно судить по внутренней поверхности осколка. Кстати, это случилось около двух месяцев назад.

Полковник даже вздрогнул: дата испытания снаряда была единственным точным фактом, которым он располагал.

— Нет, — продолжал между тем Боровский, — это,

безусловно, не фугасный, даже не осколочный и тем более не бронебойный снаряд. Это что-то другое...

Профессор умолк. Сейчас он должен был сказать последние, самые главные слова и тем самым взять на себя всю полноту ответственности за определенное заключение. А Боровский не любил ничьих поспешных заключений, тем более не любил их делать сам. Полковник знал это свойство характера профессора, сам принадлежал к подобным людям, а потому не торопил собеседника ни жестом, ни взглядом.

Боровский еще раз перебрал в уме все возможные варианты и произнес твердо, без тени сомнения:

— Изготавливать подобные стаканы, по моему мнению, есть смысл только в том случае, если снаряжать их отравляющими веществами — ОВ. Это, без сомнения, осколок химического снаряда.

Профессор положил кусок металла на стол и добавил:

— К сожалению, ничего не могу сказать вам об этой проклятой начинке...

...Боровский давно покинул кабинет, а полковник еще долго сидел недвижимо, погруженный в раздумья самого неприятного характера. Наконец он встрепенулся, повел широкими плечами и поднял трубку внутреннего телефона.

— Иннокентий Васильевич? Только что у меня был Боровский. К сожалению, он полностью, ни о чем не будучи предупрежден заранее, подтвердил самые худшие опасения наших экспертов. Он тоже полагает, что это осколок химического снаряда, и никакого другого. Разрешите зайти к вам? Слушаюсь.

Полковник положил в кожаный портфель несколько папок, опустил туда же осколок, предварительно завернув его в бумагу, и вышел из кабинета.



Ко времени описанного разговора советская разведка уже знала, что немцы приступили к массовому выпуску отравляющих веществ нового типа, превосходящих по силе своего воздействия на живой организм все ранее известные газы и яды. Поступили сведения и о том, что новые отравляющие вещества испытывались на заключенных в гитлеровских лагерях смерти. Смерть во время испытаний наступала почти мгновенно, даже если на жертвах были противогазы. Установили также, что рецептура газов разработана в лабораториях «ИГ» Фарбениндустрии, на ее же предприятиях освоено и массовое производство их. Снаряды изготавливают фирмы «Крупп» и «Унион». Отравляющим веществам были присвоены кодовые названия «табун», «зарин», «циклон», но установить их химический состав не удалось.

21 марта 1942 года Председатель Совнаркома И. В. Сталин получил через английского посла Керра личное и секретное послание Премьер-Министра Великобритании У. Черчилля. В числе прочего в письме были и следующие строки:

«...2. Посол Майский был у меня на завтрак на прошлой неделе и упоминал о некоторых признаках того, что немцы при попытке своего весеннего наступления могут использовать газы против Вашей страны. Посоветовавшись с моими коллегами и начальниками штабов, я хочу заверить Вас в том, что Правительство Его Величества будет рассматривать всякое использование ядовитых газов как оружия против России точно так же, как если бы это оружие было направлено против нас самих. Я создал ко-

лоссальные запасы газовых бомб для сбрасывания с самолетов, и мы не преминем использовать эти бомбы для сбрасывания на все подходящие объекты в Западной Германии, начиная с того момента, когда Ваши армия и народ подвергнутся нападению подобными средствами.

3. Представляется необходимым рассмотреть вопрос о том, следовало ли бы нам в соответствующий момент выступить с публичным предупреждением о том, что таково наше решение. Подобное предупреждение могло бы удержать немцев от добавления нового ужаса к тем многим, в которые они уже ввергли мир. Прошу Вас сообщить мне, что Вы думаете по этому поводу, а также, оправдывают ли признаки подготовки немцами газовой войны это предупреждение.

4. Вопрос не имеет особой спешности, но, прежде чем я приму меры, которые могут навлечь на наших граждан эту новую форму нападения, я должен, конечно, иметь в своем распоряжении достаточно времени для приведения в полную готовность наших противохимических средств».

29 марта И. В. Сталин ответил У. Черчиллю:

«...Выражаю Вам признательность Советского Правительства за заверение, что Правительство Великобритании будет рассматривать всякое использование немцами ядовитых газов против СССР так же, как если бы это оружие было направлено против Великобритании, и что британские военно-воздушные силы не преминут немедленно использовать имеющиеся в Англии большие запасы газовых бомб для сбрасывания на подходящие объекты Германии.

...Я думаю, что было бы вполне целесообразно, если бы Британское Правительство выступило в ближайшее время с публичным предупреждением о том, что Англия будет рассматривать применение ядовитых газов против СССР со стороны Германии или Финляндии так же, как если бы это нападение было произведено против самой Англии, и что Англия ответила бы на это применением газов против Германии.

Понятно, что, если Британское Правительство пожелает, СССР готов в свою очередь сделать аналогичное предупреждение Германии, имея в виду возможное газовое нападение Германии на Англию.

...Советское Правительство было бы весьма благодарно, если бы Британское Правительство могло помочь СССР получить в Англии некоторые недостающие химические средства обороны,

а также средства ответного химического удара, имея в виду возможность химического нападения Германии на СССР...»

10 апреля И. В. Сталину вручили новое личное и секретное послание У. Черчилля:

«...1. В начале мая я сделаю заявление, в котором нацисты будут предупреждены о применении нами ядовитых газов в ответ на аналогичные атаки на Вашу страну...

3. Конечно, если необходимо, то мы... сможем предоставить Вам первым ближайшим пароходом по крайней мере тысячу тонн иприта и тысячу тонн хлора...»

Через двенадцать дней И. В. Сталин сообщил У. Черчиллю:

«...Выражаю Вам признательность за готовность поставить 1000 тонн иприта и 1000 тонн хлора. Но так как СССР ощущает более острую нужду в других химических продуктах, то Советское Правительство желало бы вместо указанных выше продуктов получить 1000 тонн гипохлорида кальция и 1000 тонн хлорамина или, в случае невозможности поставки этих продуктов, 2000 тонн жидкого хлора в баллонах».

Позднее сделал свое знаменитое заявление Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт:

«Я испытываю отвращение при мысли, что какая-либо страна, даже наши нынешние враги, могла бы или была бы намерена применить против человечества такое ужасное и бесчеловечное оружие. Применение такого рода оружия признано незаконным общим мнением всего цивилизованного человечества. США не применяли такого оружия, и я надеюсь, что мы никогда не будем вынуждены применять его. Я заявляю категорически, что мы ни при каких обстоятельствах не прибегнем к такого рода оружию, если наши враги первыми не применят его».

Обо всех этих событиях государственного, можно даже сказать — международного значения, которые насчитывали к лету 1943 года многомесячную историю, Виктору Измайлову, разумеется, ничего известно не было. Ему рассказали только, что, по некоторым дан-

ным, немцы в нарушение Женевского протокола 1925 года в широких масштабах ведут подготовку к химической войне против Советского Союза. Возможность такого преступления со стороны гитлеровцев наше командование никогда, конечно, со счетов не сбрасывало. Но к лету 1943 года стало очевидно, что гитлеровская военная промышленность производит уже не опытные экземпляры, а крупные серии артиллерийских снарядов и авиационных бомб, снаряженных сильнейшими отравляющими веществами не установленного пока состава.

Информация, стекавшая в Москву, в Центр, день ото дня приобретала все более угрожающий характер. В начале лета, когда и вермахт, и Красная Армия готовились к решающему сражению на Курской дуге, в Центр пришли сообщения, что гитлеровцы начали перебрасывать химические бомбы и снаряды на Украину, ближе к Восточному фронту.

Небольшой Луцк был с позиций гитлеровцев одним из самых подходящих мест для временного склада нового оружия.

Измайлов выслушал задание очень внимательно, а затем, задумчиво покусывая травинку, сказал:

— Знаете, кажется, что-то у нас уже происходит...

Действительно, один из подпольщиков, работавший официантом в казино, слышал, как несколько офицеров за его столиком говорили о каком-то новом оружии, которое вот-вот поступит и которое по своему воздействию превосходит все ранее существовавшее.

Никаких других подробностей официант больше не уловил, и сообщение его особого интереса у Измайлова тогда не вызвало: гитлеровцы периодически для поднятия уже порядком пошатнувшегося духа собственной армии, а также для устрашения населения распростра-

няли слухи о появлении нового мощного оружия, способного разом решить исход войны. Но теперь проходить мимо таких сообщений было нельзя — за ними могли стоять серьезные факты.

— Это дело первостепенной важности, — такой приказ был отдан Измайлову, — ищите химические снаряды, используйте для этого все возможности, все связи. Но соблюдайте полную секретность, даже привлеченные к поискам подпольщики не должны знать без крайней надобности, что именно они ищут...



Как-то незаметно подползла дата, которая невольно заставила Пашу горько вздохнуть: два года оккупации... Чем они были для нее, эти два года? Кошмарным сном? Нет. Реальность, действительность, от которой ни убежать, ни очнуться.

Оккупация стала привычной формой существования. Именно существования, потому что жизнью назвать происходившее день за днем было невозможно. Привыкла... Паша горько усмехнулась. Да разве можно привыкнуть к тому, чему отчаянно противилась ее душа? А потом подумала, что да, привыкла. Но не к оккупации. Привыкла к другому — подавлять собственные чувства, научилась владеть собой.

Странная теперь у нее была жизнь. Даже не одна, а целых три жизни — не многовато ли для двадцатичетырехлетней девушки? Одна жизнь оставалась где-то

там, за двухлетней чертой. Там был и тихий деревянный Ржев, и шумная Москва ее студенческих лет, и Луцк, каким он был в тот день, когда она впервые вышла на перрон городского вокзала. Вспоминалась Паше то длинная очередь к институтской кассе в дни выдачи стипендии, то «Чертовое колесо» в Сокольниках, или — курьезнейшее зрелище — двухэтажный экспериментальный троллейбус на улице Горького, или сверкающий хрусталем знаменитый Гастроном № 1, который все москвичи упорно продолжали называть «елисеевским». Впрочем, воспоминания о довоенных московских магазинах Паша всегда спешила прогнать поскорее.

Иногда тот мир давал знать о себе и совершенно случайно. Подклеивала как-то Паша обои в углу своей комнаты и обнаружила обрывок старой московской газеты. На заляпанной мучным клейстером полосе только и сумела она разобрать, что в неизвестный ей день неизвестного года московский «Спартак» выиграл с крупным счетом у киевского «Динамо», что в театре сада «Эрмитаж» выступает заслуженный артист республики Аркадий Райкин и что в кинотеатре «Баррикады» идет комедия «Волга-Волга» с участием Любови Орловой и Игоря Ильинского.

Аркадия Райкина Паша несколько раз слышала по радио, фильм «Волга-Волга» видела дважды — дома и в Москве, а вот на футбольном матче ей не довелось побывать ни разу в жизни, о чем она раньше ни капельки не жалела, но сейчас вдруг стало так обидно, что она чуть не разревелась. И твердо решила, как только кончится война, непременно пойдет на футбол и именно на «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев).

Еще была жизнь Паши Савельевой, неприметной служащей одного из оккупационных учреждений, имеющей аусвайс, мельдкарту и хорошую репутацию у на-

чальства. Эта Паша каждый день минута в минуту приходила на работу, потому что за малейшее опоздание немцы строго наказывали. Вплоть до увольнения, а увольнение означало немедленную мобилизацию в Германию. Смысл бытия этой Паши заключался в том, что ей все запрещалось.

Самой большой заботой этой Паши было достать где-нибудь килограмм-другой картошки, бутыль керосина, буханку хлеба или кусок сала. Сало котировалось выше всего, потому что было не только едой, но валютой, некой универсальной ценностью, на сало можно было выменять все, что угодно. Но где его достать, это сало? У Паши бывали деньги, и рейхсмарки, и оккупационные, порой много денег — их присылали из отряда. Но они шли на иные цели.

Деньги эти находились в распоряжении совсем другой Паши Савельевой, какую знали в городе лишь немногие и какой она была на самом деле, — руководительницы разведывательной организации. Это была третья и главная жизнь Паши Савельевой, которая никогда не должна была пересекаться со второй, параллельной серенькой жизнью, ибо такое пересечение могло кончиться только одним: разоблачением и гибелью.

До недавнего времени руководителей группы было трое: Измайлов, Петров-Громов и Савельева. Но Паше было во сто крат труднее, чем ее товарищам, кадровым военным.

Громов был из тех, кого называют сорвиголовой. Таким людям всегда везет — из самых невероятных передряг они возвращаются как ни в чем не бывало. Но до поры до времени. Они редко доживают до старости, это не их удел. В самой отчаянной обстановке такие люди действуют словно по наитию, всегда находя самое нужное и единственно правильное решение.

И осуществляют его с блеском. Пока... Пока им не изменит удача. Так и случилось с ним, с Колей Громовым.

Еще в первые месяцы оккупации немцы создали в городе гетто: отгородили колючей проволокой несколько кварталов и загнали туда под стволами автоматов всех местных жителей еврейского происхождения. Привезли в гетто и евреев из окрестных городков и сел. В конце сорок второго года часть евреев расстреляли, а ранней весной сорок третьего по городу поползли слухи, что не сегодня-завтра уничтожат и остальных обитателей гетто. И Петров-Громов решил предпринять отчаянную попытку спасти от гибели сотни людей. Не уверенный, что он заручится поддержкой Измайлова и Савельевой, Петров проник за колючую проволоку гетто один, спрятав под одеждой несколько пистолетов и гранаты.

В гетто он отыскивал молодых ребят, готовых, как и он, на самоотверженный бой, и поднял с ними вооруженное восстание.

Несколько часов горстка храбрецов вела неравный бой против десятков гитлеровских солдат и полицейских. Они уничтожили часть охранников, не ожидавших нападения, и завладели их оружием. Но вырваться за колючую проволоку им все же не удалось. Вернее, не удалось вывести тех, ради кого они и подняли мятеж, а уходить одним, пока не подоспели машины с солдатами, не захотели.

Окруженные со всех сторон, уже без всякой надежды на спасение, повстанцы отбивались от гитлеровцев, пока не были уничтожены почти целиком. Контуженный разрывом мины, потерявший сознание Громов очнулся — третий раз в своей жизни — уже в камере гестапо. Фамилию его немцы знали: один из полицейских, подавлявших восстание, жил рядом с Громовым и

опознал в захваченном соседа. Обыск ничего не дал — отчаянный вроде бы до безрассудства Петров-Громов немецкие мундиры, в которых ходил на охоту, и оружие хранил в известных только ему тайниках.

Его избивали резиновыми палками и шомполами, подвешивали за связанные за спиной руки, так что с хрустом выворачивались кости из суставов, загоняли под ногти иголки, рвали плотничьими клещами здоровые зубы, выжигали на спине паяльной лампой полосы, сутками не давали воды... Громов молчал, а если открывал иногда рот, то чтобы высказать следователю Шмидту такое, от чего эсэсовский лейтенант заходил в ярости.

Потом пытаться перестали, более того, поручили двум врачам — немецкому и другому, из пленных, — привести его побыстрее в полный порядок, не жалея для того ни лекарств, ни хорошей еды. Когда Николай встал на ноги, еле живой после перенесенных пыток, с ним заговорили по-иному: предлагали поступить на службу, обещали хорошее жалованье — пусть только сообщит, с кем связан, по чьему заданию поднял восстание в гетто. Лейтенант Шмидт угощал Николая коньяком и сигаретами, делал комплименты его стойкости.

Петров выкурил сигарету, погасил окурочек в пепельнице и широко улыбнулся, открыв темные провалы на месте выбитых зубов:

— За сигареты и приятные слова спасибо. Но валять со мной ваньку не стоит, господин лейтенант. Шомполами вы меня не взяли, деньгами тоже не возьмете.

Лейтенант Шмидт с превеликим наслаждением тут же в кабинете пристрелил бы дерзкого русского, или, скорее, замучил его до смерти. Но у него было строгое

предписание начальства: если арестованный Громов не примет сделанного ему предложения, перевезти его как особо опасного преступника под усиленной охраной в ровенскую тюрьму для дальнейшего следствия.

Из луцкой тюрьмы Николай сумел переправить на свободу письмо товарищам: *«...Жизнь мне нужна, чтобы бороться. Будем надеяться, что мы еще встретимся и, конечно, в наше время... Трудно определить, когда встретимся после окончания войны, когда наступит мирное время. Но мы убеждены в том, что победа будет на нашей стороне, что враг будет уничтожен и изгнан с нашей земли. Если же я погибну, сообщите моему отцу, что его сын умер честным человеком. Вот его адрес: Ленинградская область, город Псков, п/о Череза, деревня Глоты, Петрову Григорию Петровичу.*

С приветом Николай Громов».

В ровенской тюрьме Громова целую неделю на допросы не вызывали, видимо, было не до него. За эту неделю Николай сколотил из заключенных группу смельчаков и 8 марта 1943 года поднял вооруженное восстание в тюрьме! Заключенные убили нескольких часовых и тюремных чиновников, но сам Николай Петров-Громов во время этой дерзкой попытки вырваться на свободу погиб.

Совсем другим был Виктор Измайлов, кадровый военный, он умел найти правильный ход в любой ситуации, при любых обстоятельствах действовал точно по принятому плану. Если нужно, и он шел на самое рискованное действие, не было нужды — он был способен неделями выжидать наиболее благоприятного момента.

Но Паше никогда раньше даже в голову не приходила мысль, что придется иметь хоть какое-то отношение к военному делу. К тому же она всегда считала се-

бя трусихой. Трижды она смотрела «Чапаева», каждый раз спрашивала себя: а смогла бы она как Анка-пулеметчица, и каждый раз честно отвечала: «Нет, не смогла бы».

А тут было труднее, чем лежать за «максимом» против белогвардейских цепей. Первые дни она испытывала панический ужас при каждой встрече с немецким солдатом. Постепенно страх прошел, оставив вместо себя до крайности обостренное восприятие опасности: трезвое, холодное и спокойное.

Деревенская рассудительность и четкость мышления финансиста дали превосходный сплав: неожиданно она обнаружила (товарищи ее догадались об этом гораздо раньше), что способна рассчитывать каждый свой шаг и предугадывать с достаточной степенью вероятности его последствия. И качеством этим, чрезвычайно важным в разведке, Паша обладала в большей степени, нежели ее друзья, которых она привыкла ставить выше себя. Но они сами — и Громов, и Измайлов — это Пашино достоинство выделили в ней давным-давно, иначе вряд ли девушка вошла бы в руководство уже настоящей разведывательной группы.

Изменилось и ее отношение к опасности, особенно после боевых операций, проведенных вместе с Громым. Паша уже не боялась, в первую очередь потому, что научилась не бояться собственного страха перед опасностью. Она знала, что ждет ее в случае разоблачения, и внутренне была готова к встрече с гибелью.

Постоянное сознание опасности не оставляло ее теперь ни днем, ни ночью, став частью ее бытия. Что бы она ни делала, где бы ни находилась, какая-то частица ее мозга подсознательно фиксировала все происходящее вокруг, отмечала малейшую необычность обстановки. Вот почему, вероятно, в июне Паша почувствовала: за ней следят.

Вначале это было какое-то зыбкое беспокойство, которое охватывало ее каждый раз, когда она выходила на улицу. Потом чувство конкретизировалось в образе малоприметного парня, как бы случайно отворачивающего лицо, когда он попадался на глаза девушке.

Ничего плохого о нем по внешнему облику Паша сказать бы не могла. Парень как парень, лет двадцати пяти, среднего роста, с правильными чертами лица и карими глазами. Никаких запоминающихся примет, разве что оспинка над левой бровью.

Паша сообщила о своих подозрениях Измайлову. Виктор тоже встревожился, но поначалу высказал и такое предположение:

— Слушай, Паша, а может, мы зря к нему придираемся? Может, ты ему просто понравилась, парень ходит, вздыхает, познакомиться не решается, а нам уже черти мерещатся? А?

Паша почувствовала, как щеки предательски краснеют. А Виктор, делая вид, что не замечает ее смущения, продолжал:

— Ты, прямо скажем, девушка хорошенькая — и как это я сам раньше не замечал...

— Ну конечно, потребовалось, чтобы ко мне прицепился шпик, иначе обратить на меня внимания ты же не мог, — с сарказмом и даже злостью выпалила Паша.

Теперь смутился Виктор. Виновато улыбнувшись, сказал примирительно:

— Не сердись... — Преодолев неловкость, Виктор все же закончил свою мысль: — Предположение, конечно, банальное, но мы не имеем права сбрасывать и его со счетов. Вдруг это всего лишь незадачливый влюбленный? Нужно разобраться. Сделаем так...

План Виктора Измайлова не отличался сложностью, да этого и не требовалось. Проверка его, как мысленно

называла подозрительного парня Паша, должна была выглядеть естественно.

Словом, дня через два Паша пошла в единственное место в городе, где девушка могла появиться, не вызывая особых нареканий: в кино. Билет — один — она взяла заранее днем, в обеденный перерыв, чтобы он имел возможность присоединиться к ней без особого труда. И он появился... Один, без девушки или приятеля.

До сеанса оставалось минут пятнадцать. Паша побродила немного по фойе, разглядывая вывешенные на стендах фотографии немецких кинозвезд. Довольно долго постояла у портрета Марики Рокк, потом выпила стакан газированной воды, потом посидела у крохотной эстрадки, где наигрывали какой-то сентиментальный вальсок три пожилых музыканта с голодными лицами. Он все сидел в углу фойе и не делал ни малейшей попытки подойти к явно скучающей одинокой девушке.

Домой Паша шла медленно, избрав нарочно самую длинную дорогу, но он так и не подошел, хотя самый застенчивый парень не упустил бы такую выгодную возможность для знакомства с понравившейся ему девушкой.

— Что ж, — подвел на другой день итог Виктор Измайлов, — будем считать, что Ромео из твоей тени не состоялся. Версия с несчастной любовью потому отменяется.

Оставалась единственная версия, и в отличие от первой она никак не могла польстить девичьему самолюбию. Ее-то тем более необходимо было проверить.

Через два дня в переулке неподалеку от кинотеатра «Глория» сильно подвыпивший немецкий лейтенант минут за двадцать до наступления комендантского часа остановил молодого парня с еле заметной оспинкой над левой бровью.

— Ты кто такой, — спросил он на ломаном русском языке. — Давно здесь вертишься. Аусвайс!

— Извините, господин лейтенант, — почтительно ответил парень, — я спешу домой, чтобы поспеть до комендантского часа. Пожалуйста, вот мой аусвайс.

Офицер развернул документ и углубился в его изучение. Видимо, ему что-то не понравилось, потому что он смерил парня подозрительным взглядом и с расстановкой, отчеканивая каждое слово, произнес:

— Это не есть правильный аусвайс! Тут фотографий совсем не похож! Ты украл этот аусвайс!

С этими словами офицер вытащил пистолет и, не спуская с парня взгляда, приказал ему идти вперед. Но парень отнюдь не стушевался:

— Не утруждайте себя, господин лейтенант, — почтительно, но вполне уверенно сказал он. — Не нужно меня вести в гестапо, если уж так случилось, извольте взглянуть, у меня есть и другой документ. Вот возьмите сами, в верхнем кармашке...

Не отворачивая черного зрачка парабеллума, офицер вытащил из кармашка у парня кусочек картона, размером чуть больше железнодорожного билета. На обеих сторонах его по-украински и по-немецки был напечатан один и тот же текст, а именно, что предъявитель сего есть секретный осведомитель гестапо Сычик и что всем местным властям предлагается оказывать ему всяческое содействие, круглая печать с орлом и номером, дата и подпись: «Фишер».

Офицер молча вернул Сычику картонку.

— Что случилось, господин лейтенант?

Офицер оглянулся — к ним торопливо шагали два фельджандарма с автоматами на груди.

— Ничего особенного, ефрейтор, — ответил он, пряча в кобуру парабеллум. — Проверил документы у этого парня, все в порядке, пропустите его...

— Спасибо, господин лейтенант, — поблагодарил Сычик и растворился в темноте переулка.

Сычик напрасно благодарил лейтенанта — молиться богу ему нужно было за здоровье жандармов: не подойди они случайно, валяться бы ему, пробитому французским клинком: Михаил Неизвестный живым бы его не выпустил.

Разведчики теперь точно знали, что парень, вторую неделю преследующий Пашу, действительно секретный агент гестапо. И Виктор предписал Паше до поры до времени ни с кем не встречаться. Дополнительная проверка установила, что Сычик пользуется в гестапо репутацией сыщика с хорошим нюхом. То, что он зацепил Пашу, подтверждало, к сожалению, его репутацию.

Но было известно и другое. Агенты гестапо, завербованные гитлеровцами из числа предателей Родины, как правило, получали свои сребреники «за голову», твердыми ставками хозяева их не баловали — чтобы были злее и старательнее. Поэтому агент, напавший на след, о своей удаче начальству не сообщал до тех пор, пока не выслеживал все нити.

Отсюда следовало, что в гестапо о Паше Савельевой, вероятнее всего, еще ничего не известно. А если так, значит убрав Сычика, группу можно спасти. Но как его убрать?

Проще всего ликвидировать Сычика где-нибудь в тихом месте, как это чуть было не сделал Михаил Неизвестный. Но, обнаружив труп, немцы начнут следствие, а в гестапо, как понимал Виктор, работали отнюдь не дилетанты. Нет, убрать Сычика нужно было незаметно, не вызывая подозрения, что совершен акт возмездия.

Откладывать операцию больше нельзя. Каждый час промедления теперь таил в себе угрозу, и Виктор при-

нял решение ликвидировать Сычика самому, не передоверяя этого никому другому.

В ближайший воскресный день Паша, напевая песенку, вышла из дому и направилась в сторону городского пляжа. Глядя на ее свежее, чуть тронутое загаром лицо, никто бы не сказал, что накануне она провела без сна едва ли не самую скверную ночь в своей жизни. То и дело вставала с измятой постели, бродила по комнате, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить мать. Несколько раз выходила на кухню и пила воду из деревянного ковшичка-петушка, привезенного еще из Ржева.

А сон не шел. Мысли разбегались — и главные, и пустячные, но вертелись вокруг одного: а вдруг они ошибаются. Вдруг все это лишь какое-то наваждение? Плод стечения случайных обстоятельств? И что, если он ни в чем не виноват? Ведь тогда... Ей вдруг стало почти жалко этого Сычика: молодой, может быть, у него есть мать, отец, сестра... И оборвала тут же ненужную жалость: сам мог бы пожалеть себя, когда шел на предательство. Какая тут может быть ошибка, когда Неизвестный собственными глазами читал гестаповскую картонку, ведь не пригрезилась же ему она! И люди Измайлова, имеющие связи в самом гестапо, еще тоже, слава богу, пребывают в здравом уме и твердой памяти. Нет, ошибки нет. Ошибкой будет, если они оставят Сычика ползать по нашей земле и позволят ему продолжать творить черное дело. Не она — он, этот неприметный парень, должен мучиться от бессонницы и покрываться холодным потом при мысли: сколько веревочке ни виться, а конца не миновать...

Но волновалась Паша только ночью, пока не подошла минута действовать. Теперь же, выйдя на улицу, она была спокойна и думала только об одном: чтобы все исполнилось точно по плану, без всяких неожидан-

ностей. Теперь уже никаким неожиданностям места быть не могло.

Итак, напевая песенку, Паша шагала к пляжу. В правой руке она держала большую соломенную сумку (перед самой войной Паша купила ее в Москве на Сельскохозяйственной выставке, тогда такие сумки были у москвичек в большой моде). Из сумки выглядывал конец лохматого желтого полотенца. Пройдя мимо замка Любарта, девушка замедлила шаги, достала из сумки пудреницу, раскрыла ее и... Так и есть! В крохотном зеркальце мелькнула знакомая фигура. Сычик!

«Следи, следи», — со спокойной злостью подумала Паша, пряча пудреницу обратно в сумку.

На низком берегу безмятежно-ленивой Стыри Паша выбрала местечко поуютнее и улеглась на ласковом песке. Под лучами жаркого июньского солнца девушке стало хорошо и спокойно. Точно она пришла сюда загорать после обычной трудовой недели за банковской конторкой.

Паша лежала на животе, скрестив руки под подбородком, голову прикрыла от солнца легкой кисейной косынкой. Никто, решительно никто не обратил на девушку, пришедшую покупаться и позагорать на берег Стыри, ни малейшего внимания. Не покосился в ее сторону и красивый, атлетического сложения молодой человек с крутыми завитками темных кудрей, спадавших на высокий лоб. Молодой человек сидел на песке метрах в тридцати от Паши и с удовольствием предавался обычному пляжному занятию: жонглировал, и довольно ловко, двумя камушками.

На пляже, несмотря на отличную погоду, загорало всего несколько человек — в оккупированном Луцке людям было не до воскресного отдыха.

Прошло минут двадцать. Небрежно помахивая синими сатиновыми плавками («Не иначе. как специаль-

но за ними домой бегал», — отметила Паша), на берегу появился еще один купальщик. Со скучающим видом он шагал по песку, высматривая, где бы присесть. В том, что довольно симпатичный парень присел неподалеку от одинокой загорающей девушки, не было решительно ничего удивительного. Парень быстро переоделся и тоже растянулся на песке.

Все три участника предстоящей схватки были теперь на месте: Виктор, Паша и Сычик. Но о том, что схватка будет, знали только двое. Сычику не дано было предвидеть, что это солнце, эта теплая, ласковая вода, этот песок последние в его жизни.

Еще через полчаса, когда солнечные лучи стали припекать совсем уж невыносимо, Паша встала, стряхнула с груди и бедер приставшие песчинки, завязала на затылке косынку и направилась к воде.

Нерешительно поболтав в воде ногой, взвесила что-то в уме и со вздохом сожаления вернулась обратно. Спустя некоторое время она, словно преодолев вполне объяснимое смущение, подошла к парню в синих плавках, до того безучастно и неотрывно читавшему странную для его возраста книгу — «Сказки братьев Grimm».

— Извините, пожалуйста, — нерешительно заговорила Паша. Парень, оторвавшись от книги, взглянул на нее с очевидным смятением. Словно не замечая его растерянности, Паша, застенчиво улыбаясь, объяснила:

— Понимаете, я тут одна, без друзей. Очень хочется выкупаться, но в прошлый раз со мной случилась судорога. Нogu свело... Ну и... Я немного боюсь...

Лицо Сычика скривило некое подобие улыбки. Неожиданная просьба спутала его планы. Он шел за Пашей ведомый, с его точки зрения, достаточно серьезными подозрениями, но знакомиться с нею вовсе не собирался. И это было понятно: если Паша действительно связана с партизанами, такое знакомство может

лишь спугнуть ее. Что скрывается за этим ее шагом? Желание «прощупать» — этого Сычик не исключал — в случае, если девушка заметила слезку? Что ж, пускай попробует. Он, Сычик, прошел хорошую школу, не этой девчонке расколоть его. В конце концов, если уж пришлось познакомиться с нею, даже хорошо, что знакомство произошло по ее инициативе.

— Пойдемте, — только и сказал он, вставая.

Они вошли в воду. Паша поплыла по течению. Добросовестно стараясь держаться поблизости, за ней поплыл Сычик. А еще через две минуты кудрявый атлет отбросил в сторону свои камушки, встал, потянулся и тоже зашагал к воде.

Сколько прошло времени, никто не считал. Первой вернулась на берег девушка. Она смахнула с плеч сверкающие капельки влаги, вытерлась лохматым желтым полотенцем и надела сарафан, сразу облепивший стройное, еще влажное тело. Не нагибаясь, поддела на босые ноги сандалии, собрала вещи в большую соломенную сумку и зашагала обратно в город. Потом вернулся на свое место и кудрявый атлет. Побродил по песку, дожидаясь, пока обсохнет кожа (полотенца у него не было), оделся неторопливо и тоже ушел с пляжа.

И никто, решительно никто не обратил внимания на сиротливую кучку одежды на том месте, где песок еще сохранял очертания тела парня в синих плавках. Никого не заинтересовал даже сборник братьев Гримм, заложенный на сказке о бременских музыкантах.

Тело Сычика всплыло из воды лишь на третий или четвертый день. Следов насильственной смерти на нем обнаружено не было. Шефу гестапо доктору Фишеру было доложено, что агент Сычик утонул во время купания по собственной неосторожности. Сослуживцы не

нашли в его бумагах ничего интересного, видимо, решили они, в последние недели их коллега работал не особенно успешно. А вскоре его и вовсе забыли.



Во всей полноте с заданием Москвы Измайлов счел нужным познакомить только трех человек: Пашу Савельеву, Алексея Ткаченко и Михаила Неизвестного, к которому после гибели Николая Громова перешли функции руководителя боевых операций.

В конспиративной квартире на Ковельской улице они несколько часов обсуждали, кого из подпольщиков следует привлечь к поискам, учитывая место работы, связи, индивидуальные особенности и недостатки.

Уже не раз писалось, что работа разведчика во вражеском тылу — тяжелый, опасный, кропотливый труд и что, перефразируя слова поэта, для добычи грамма стоящих сведений приходится перерабатывать тысячи тонн информационной руды. Но если золотоискатель находит порой килограммовый самородок, то и в разведке иногда, хотя и очень редко, случаются невероятные удачи. Не следует только забывать, что удача такая зиждется на прочной основе долгой работы, а не сваливается с неба, подобно библейской манне.

Руководителям луцкого подполья неслыханно повезло, потому что первый же человек, получивший от них указание искать, через какие-то несколько недель нашел! Но эта удача, конечно, не была случайной, пото-

му что таким человеком уже нужно было располагать, а это как раз и не было случайностью, а итогом двух-летней работы организации.

Невысокого роста, немолодой, одетый в нелепый кургузый пиджачок, в старомодном пенсне, инженер Соколов до войны был известным путейцем, а ныне, при «новом порядке», — официантом при станционном солдатском буфете. Скрамная должность Соколова не исключала, однако, возможности оказывать советской разведке весьма важные услуги, поскольку человек он был в высшей степени наблюдательный и в железнодорожном деле высококвалифицированный. К тому же, как многие старые русские инженеры, Соколов хорошо владел немецким языком.

Инженер Соколов приехал в Луцк в служебную командировку буквально за несколько дней до начала войны и успел познакомиться только с Пашей — привез ей из Москвы письмо и небольшую посылочку от своей племянницы, которая училась с Савельевой на одном курсе института. Поэтому немцы о его подлинной профессии и квалификации (так же как и о степени владения немецким языком) и не догадывались.

Когда пришли оккупанты, именно Паша помогла Соколову найти подходящую квартиру, достала ему документы, а потом подобрала нетяжелую работу.

Вовлекать Соколова в подпольную организацию девушке даже не пришлось — проницательный инженер сам обо всем догадался. Регулярно он сообщал Савельевой множество сведений, которые почерпывал из разговоров посетителей буфета и служащих вокзала или наблюдал сам.

Лишь однажды Паша дала старику конкретное поручение, оно как раз и касалось химических снарядов.

Паша и Соколов встречались в условленном месте — на скамейке в парке Шевченко. Свидания были

всегда очень короткими, иногда Соколов вручал девушке донесение, написанное мелким твердым почерком, иногда просто устно сообщал о чем-либо важном.

Во время очередной встречи Соколов выглядел очень озабоченным, долго возился с махорочной самокруткой, чиркал колесиком зажигалки-«самопала», заменявшей населению давно исчезнувшие спички, потом молча и сосредоточенно курил. Наконец произнес:

— Ну-с, милая барышня, если я хоть что-то понимаю в железнодорожных перевозках, то, кажется, мы нашли то, что искали.

Как и все предыдущие, это донесение Соколова было предельно лаконично: на станцию Луцк под необычно усиленной охраной прибыло несколько вагонов с артиллерийскими снарядами. Разгружают их и переносят на склад только немецкие солдаты. Ни местные грузчики, ни военнопленные к разгрузке, как всегда бывало раньше, не привлекаются. Все работы ведутся в обстановке предельной секретности, на путях не разрешается находиться никому постороннему. Некоторые предпринятые дополнительные меры предосторожности могут быть объяснены, как думает Соколов, специфическим характером груза — ОВ.

Соколов не ограничился донесением: он вручил Паше листок бумаги — план расположения складских помещений, изготовленный в масштабе, со всеми необходимыми пояснениями. И каждый штрих рисунка отличала скрупулезная точность.

Паша не находила слов, как благодарить инженера Соколова. Потом привычно подумала: «Нужно скорее к Виктору...» И осеклась. И уже не было радости, а была лишь боль и тоска. Больше месяца прошло с того страшного дня, а она все не могла смириться с мыслью, что его уже нет в живых...

Виктор Измайлов погиб 7 июля, когда возвращался

с партизанского маяка после передачи очередной информации. Виктор отдал донесение партизану Владимиру Ступину, немного отдохнул, поел, попрощался с бойцами и отправился в обратный путь.

Он отошел от маяка на какой-нибудь километр и здесь, на опушке леса, наткнулся на сторожевую заставу бандеровцев. Жестокая, но, увы, неравная схватка длилась считанные мгновенья. Виктор не успел даже до конца разрядить обойму своего «вальтера», как его прошли автоматные очереди сразу с нескольких сторон...

Луцкое подполье лишилось еще одного своего руководителя. А Паша к тому же потеряла человека, который, как знать, мог бы стать для нее самым близким.

...Осторожное прикосновение сухой ладони вывело девушку из недолгого забытья.

— Что с вами? — услышала Паша встревоженный голос Соколова.

— Так, ничего, — виновато ответила Савельева и, взяв себя в руки, добавила обычным спокойным голосом. — Спасибо вам, Леонид Дмитриевич, за все, что вы сделали. А теперь извините, мне пора. До свидания!



В небольшом домике на Ковельской улице, надежно укрытом от взоров прохожих густой порослью смородины и малины, Михаил Неизвестный докладывал Па-

ше и Ткаченко об окончательном решении командования отряда.

— Наше предложение о налете отклонено сразу и единодушно, — говорил Михаил.

— Почему? — встрепенулся Ткаченко. — Мы можем собрать и вооружить до сорока человек из бывших пленных и местных ребят, неужели этого мало, чтобы перебить часовых и ворваться в склад?

— Да нет, не мало, — ответил Михаил, — но что дальше? И вообще, зачем налет? Командование специально подчеркнуло, что это не обычная диверсия и бой нам ни к чему. Нам нужно **похитить**, тихонько, без лишнего шума, один-единственный снаряд и передать его товарищам из отряда так, чтобы они сумели наверняка вынести его из города. Мне правильно напомнили, что неподалеку от вокзала казармы. Если солдаты успеют оцепить склады, все погибло, никто не вырвется.

— Ну и рванем этот склад к чертовой матери! — не выдержал Ткаченко.

— Да что вы говорите, Алексей Дмитриевич! — тут уж вмешалась Паша. — Ведь мы отравим весь город! Снаряды-то химические! Да и задания Москвы не выполним. Нет, это никуда не годится, будем действовать так, как рекомендовали в отряде, — твердо закончила девушка. И добавила, уже специально для Ткаченко: — В конце концов, это приказ, а приказы не обсуждаются. Так, кажется, по уставу?

Михаил улыбнулся невольно. До чего же изменилась Паша за эти недели руководства группой после гибели Виктора Измайлова. Вот и про устав упомянула, а ведь никогда в армии не была. Молодец, Паша, быть тебе, по всему виду, настоящим руководителем. Недаром в отряде после долгих, правда, раздумий именно ей доверили возглавить всю организацию.

Между тем Паша, словно смутившись собственной резкости, виновато взглянула на Ткаченко и тихо сказала:

— Извините, Алексей Дмитриевич...

— Что ты, Паша? — удивился Ткаченко. — И впрямь, что это меня так занесло? Приказ есть приказ. Да и план мой, теперь вижу, ни к черту не годится.

Паша успокоилась. Она никак не могла до конца освоиться с мыслью, что она командир, и что эти люди, старше и опытнее ее, обязаны выполнять ее распоряжения, давать ей отчет в своих действиях, и что она, Паша, теперь несет ответственность за них.

Но, странное дело, если первые дни и недели после гибели Виктора эта ответственность угнетала ее, ложилась на плечи тяжким грузом сомнений и опасений, то теперь придавала ей силы и уверенность. Вот только приказывать товарищам так естественно и твердо, как это делал Виктор, она не научилась. Но ведь Виктор был кадровый командир, ему было легче, его учили командовать. А ее, Пашу, разве кто-нибудь учил посылать людей на смертельно опасные задания?

Вдруг поняла, что и ее учили... Хотя и не словами, а действиями, не прямо, наставлениями, а собственным примером. Учил Николай Громов. Учил Виктор Измайлов. Вот сейчас незаметно, чтобы не задеть ее командирского самолюбия, преподнес урок Миша Неизвестный. Да и Ткаченко... Ну конечно же! Он уже давно понял, что его план вооруженного нападения на склад никуда не годится, и защищал его лишь для того, чтобы именно она, Паша, как руководитель группы, подвела итог ненужному спору, ненужному, потому что приказ из отряда все равно обсуждению не подлежал. Значит, он это все нарочно... Ну и хитрец Алексей Дмитриевич!

Паша неожиданно для всех рассмеялась. Сразу пропала неловкость, до сих пор мешавшая ей думать и говорить. Ткаченко удивленно посмотрел на девушку, встретил ее понимающий взгляд и тоже, заговорщицки подмигнув, улыбнулся.

Совершенно успокоившись, Паша спросила Незвестного:

— Так что же нам предлагают в отряде?

— Медведев и его заместитель по разведке считают, что самое лучшее, если на склад проникнет всего несколько человек, переодетых в немецкую форму. Снимут часовых, взломают дверь помещения, где хранятся снаряды, и вынесут хотя бы один наружу. К тому дню, когда мы будем готовы, в город прибудет человек из отряда, который в ту же ночь, пока не перекрыты дороги, вывезет химический снаряд на «зеленый маяк».

Разведчики склонились над планом. Задача была не из легких — со всех сторон территорию склада окружал кирпичный забор с козырьком — такой не перелезешь. Перед забором тянулось сплошное проволочное ограждение с несколькими проходами. Сам склад состоял из десятка одноэтажных каменных строений, у входа в каждое — часовая. Инженер Соколов сообщал, что вагон с химическими снарядами разгружали у самого дальнего склада, за которым был второй выход с территории. И разведчики сразу же оценили, что часовая у этого здания и часовая у запасного выхода не могли видеть друг друга. Покидать склад нужно было именно здесь, через этот выход, чтобы не пересекать еще раз всю территорию.

Паша, Незвестный и Ткаченко не обменялись и словом, но общий замысел операции, предложенный командованием отряда, уже был ими схвачен. Смушало только одно... Молчание нарушила Паша.

— Мне все ясно, — обратилась она к Михаилу, —

но если нам предстоит пересечь всю территорию... Сколько тут? Метров триста? И в общем-то по открытому месту, как мы пройдем без пароля?

Неизвестный довольно рассмеялся:

— Все будет в порядке, если действовать с умом и решительно, я бы даже сказал — нахально. Нужно только говорить по-немецки без акцента, но у меня, кажется, с немецким все в порядке. Товарищи в отряде объяснили, как можно узнать и пароль и отзыв. Понимаешь, немцы сами нам их, конечно, не скажут. Но если мы изобразим из себя часовых, то любой встретившийся нам солдат **должен** будет назвать пароль.

— А как с отзывом? Если не ответить, он сразу поднимет тревогу... — спросил Ткаченко.

— А мы ему ничего отвечать и не должны, — сказал Михаил. — Мы этого солдата... — и он выразительно провел ребром ладони по горлу.

— Понимаю, — медленно выговорила Паша. — Значит, пароль мы уже будем знать, а отзыв нам назовет следующий часовой сам!

Девушка была явно довольна собственной догадливостью.

— Ну конечно же! — подхватил Михаил. — Этого второго нам даже не нужно будет убирать, пусть себе охраняет нас на здоровье. А часовых у самого здания с паролем и отзывом уже ничего не стоит снять.

— Здорово придумано! — Ткаченко не выдержал и возбужденно зашагал из угла в угол, то и дело с шумом натыкаясь на гнутые венские стулья. — И действительно, не нужно тридцати человек. Вполне управятся и трое. Кстати, патрули и ходят по трое.

— И третьей махорочки надо с собой прихватить, — подхватил Неизвестный, — следы от овчарок засыпать.

После довольно серьезных споров решили, что основную боевую группу составят они сами: Ткаченко,

Неизвестный, Савельева. Все трое знали, что руководителям подпольных, тем более разведывательных групп не положено самим принимать участия в боевых операциях. Закон, отстраняющий руководителя от личных активных действий, обоснован и оправдан практикой. Но та же практика знает и немало исключений из правила, когда того требовали обстоятельства исключительные.

Необходимость своего участия в операции Паша обосновывала примерно так. Похищение химического снаряда — самое ответственное задание, когда-либо порученное луцким разведчикам. Это предъявляет к его исполнителям особые требования. Неизвестный и Ткаченко самые подходящие кандидатуры на роль двоих «патрульных». Но кто будет третьим? В организации есть, конечно, смелые и преданные люди, но кто из них может убедительно и наверняка сыграть роль немецкого часового? Ткаченко и Неизвестный перебрали всех и с сожалением признали, что привлечь больше некого. Один чересчур горяч, может сорваться, другой после ранения не может быстро ходить, тот не знает немецкого языка...

Можно обратиться за помощью в отряд. Но переброска нового человека в город, его устройство под надежной «крышей» займет слишком много времени, да и рискованно.

Паша на роль третьего подходила прекрасно. Выдержки ей не занимать, а опыта благодаря былым «прогулкам» в обществе Николая Громова у нее тоже достаточно.

На том и порешили, хотя Ткаченко еще долго ворчал, что такие операции не девичье дело. С ним, впрочем, никто и не спорил.

Предварительно распределили обязанности. Ткаченко поручалось еще раз обследовать подходы к складам,

наметить маршрут следования к цели и обратно. Неизвестному — раздобыть три комплекта немецкой формы (его собственная, офицерская, не годилась, для «часовых» требовалась солдатская). Паша должна была ввести в курс дел своего возможного преемника, на случай если они трое не вернутся.

Теперь можно было расходиться.

Итак, перед боевой группой после того, как план предстоящей операции был полностью разработан, стояла только одна проблема: форма. Конечно, убить и раздеть трех солдат, имея соответствующий опыт, не стоило больших трудов. Но гестапо сообразило бы, что покушение совершено именно из-за формы, не иначе как для организации диверсии с «маскарадом», и предприняло бы соответствующие меры. Поэтому требовались такие солдаты, которых никто не стал бы искать в случае их исчезновения.

Свои поиски ничьих немцев Неизвестный начал с вокзала, где только и можно было встретить солдат, которые уже отбыли с предыдущего места службы или только прибыли в город и еще не успели зарегистрироваться в комендатуре.

Появляться на вокзале посторонним лицам из числа местного населения запрещалось: всех не имевших проездных документов задерживали патрули. Нужно было обязательно какое-то прикрытие. Его раздобыл инженер Соколов: за взятку он откупил у шеф-повара ресторана лоток для продажи горячих пирожков с мясом и повидлом якобы для своего двоюродного брата. Теперь Михаил имел возможность толкаться на вокзале круглые сутки.

Луцк хотя и был тупиковой станцией, но все же отправлял ежедневно довольно много поездов в сторону

Ровно: с боеприпасами, военной техникой, снаряжением. Их обязательно сопровождала охрана. Уходили отсюда и эшелоны с солдатами, собранными из гарнизонов Волыни и Подолии, а также местных госпиталей. В поисках Михаилу приходилось учитывать рост и комплекцию участников операции. Алексею Ткаченко требовался мундир солидного размера, ему самому средний, Паше — маленький. Наконец, Михаилу повезло: в вокзальном буфете он познакомился с двумя немцами, которые только что выписались из госпиталя и следовали через Здолбуново в Германию, где их ждал кратковременный отпуск. Рослый фельдфебель с бронзовым крестом «За военные заслуги» и его спутник, довольно тщедушный солдат из резервистов, пили в вокзальном буфете уже третьи сутки, со спокойной совестью пропуская один поезд за другим: время пребывания в пути все равно им в срок отпуска не засчитывалось. Примазавшегося к их компании лоточника они встретили довольно приветливо, поскольку в его тележке, кроме пирожков, нашлась и пара бутылок самогона, к тому же недорогого. Парень немного владел немецким языком, вполне достаточно, чтобы рассказать десяток анекдотов.

Убедившись, что немцы достигли требуемой степени опьянения, Михаил намекнул, что в городе у него есть две приятельницы: хорошенькие, веселые, правильно воспитанные, а главное — доступные по цене. Ответом ему был рев восторга. Две недорогие фрейлейн — это было именно то, чего не хватало новым друзьям для полного счастья.

Оставив тележку на сохранение инженеру Соколову, Михаил подхватил обоих немцев под руки и повел, проверив, что никто за ними не наблюдает, в гости к мифическим барышням. Патрулей он не опасался: патент вокзального лоточника предоставлял

ему право возвращаться домой после комендантского часа. Больше волновался, чтобы те же патрули не перехватили у него «клиентов» за явно непотребный вид.

Никто никогда этих двоих немцев больше не видел: ни в Германии, куда были им выписаны отпускные билеты, ни в вокзальном буфете станции Луцк, где осталось за эти три дня их двухнедельное жалование, ни в воинской части, куда они должны были вернуться после окончания отпуска. Зато в доме № 14 по Хлебной улице появилось два комплекта немецкой солдатской формы.

С третьим комплектом дело обошлось и того проще: его похитил вместе с чемоданом владельца официант Соколов. Очнувшись поутру в зале ожидания, крепко с вечера подпивший унтер так и не разыскал своего чемодана. В станционном отделении фельджандармерии над ним только посмеялись.

— Скажи еще спасибо, что деньги и документы целы.

Совершенно ошалевший унтер сказал спасибо, козырнул и с горя... снова отправился в буфет, благо деньги у него действительно не украли.

11



Ничем этот день не выделялся среди других, ни предшествовавших ему, ни следовавших за ним. Разве что одним — Паша, Михаил и Алексей к этому дню

полностью закончили подготовку к операции. Теперь оставалось лишь осуществить ее — по выражению балагура Неизвестного, «пришить к пуговице костюм». Только и всего.

Собственно говоря, готовы они были уже несколько дней, но ждали из отряда ответа на свое последнее донесение. «Ответ» наконец прибыл и сейчас спал на слишком коротком для него диванчике в углу комнаты, сбросив лишь сапоги и с головой укрывшись пестрым лоскутным одеялом. Это был худой, лет двадцати пяти человек по имени Василий Неудахин. За день он преодолел нелегкий путь от отряда до «зеленого маяка», а оттуда до Луцка. Неудахин не только принес долгожданный приказ, именно ему предстояло в ту же ночь доставить снаряд обратно на маяк. А пока он спал в уютном домике на Ковельской улице, и Паша невольно позавидовала его непоколебимому спокойствию — ведь вот может же человек спать! Словно и не было за его спиной опаснейшей дороги, словно не предстоял ему вдесятеро рискованнейший обратный путь со смертельным грузом за плечами.

Товарищи между тем заканчивали последние приготовления к «балу-маскараду», как назвал необходимость переодевания Михаил Неизвестный. И Ткаченко, и Неизвестный уже облачились в серо-зеленые мундиры и теперь расхаживали по комнате, то вскидывая руки над головой, то высоко поднимая ноги, чтобы чужая одежда лучше пригнала к телу, стала неощутимой, как бы своей. Для Михаила эта процедура была привычной (правда, раньше он выходил в город в офицерском). Но Ткаченко надел немецкий мундир впервые в жизни и теперь явно волновался. Время от времени он останавливался перед круглым зеркалом, висевшим над старинным пузатым комодом, и с удив-

лением, даже некоторым подозрением разглядывал собственное отображение.

— Фриц, еще и рыжий, — со вздохом признался он наконец самому себе.

Худой, долговязый, чуть рыжеватый, Ткаченко в фельдфебельском френче и впрямь походил на немца, о чем не преминул пошутить Неизвестный!

Но беззаботным балагуром Неизвестный казался только внешне. Ему предстояло сделать то, что Алексей, а тем более Паша взять на себя никак не могли: именно он, Михаил, должен был бесшумно и наверняка снять по крайней мере трех человек. Трех — это не одного! От Неизвестного требовались весь его опыт в такого рода делах, все хладнокровие и выдержка. И южная словоохотливость сейчас помогала ему снять огромное нервное напряжение.

Михаил придирчиво осмотрел все автоматы. Накануне он терпеливо втолковывал Паше и Алексею, как обращаться с немецким оружием. Урок они вроде усвоили, но проверку оружия перед операцией Михаил все же взял на себя. Сам же, убедившись, что все в порядке, примкнул рожки-обоймы. Паша невольно залюбовалась его ловкими, уверенными движениями — сама она всю жизнь питала к оружию какое-то предубеждение, до войны стреляла она из малокалиберки, но то была почти игрушка, а тут боевой автомат, к тому же немецкий, да и стрелять придется (если придется) не по бумажным мишеням.

Большие часы в потемневшем от возраста дубовом корпусе натужно закрипели и, словно нехотя, отбили девять раз.

— Девять часов! — ужаснулась Паша. — А я еще не готова. — И скомандовала: — А ну, ребята, отворачивайтесь, я буду переодеваться.

Михаил и Алексей послушно сели лицом к стене.

— Может, тебе помочь? — невинным тоном предложил Михаил.

— Сиди уж, помощник, и не оборачивайся, а то пострадаешь раньше времени, — засмеялась ему в спину Паша. — Подумаешь, тяжелая мужицкая работа, брюки натянуты.

Прошло несколько минут, наконец Паша весело хлопнула в ладоши:

— Раз-два-три, на меня ты посмотри!

Алексей и Михаил дружно повернулись на стульях. И ахнули. Паша исчезла. Вместо нее посреди комнаты стоял довольно щуплый, но в то же время стройный немецкий солдатик. Только светло-карие глаза остались прежними, савельевскими. Суконный мундирчик сидел на солдатике как влитой, без единой морщинки. К выправке не придерешься, вот только плечи узковаты. Дисгармонировали с формой только сапоги. Немецких солдатских сапог тридцать шестого размера в природе не существовало, поэтому Паше пришлось одалживать обычные русские кирзовые сапоги у одной из подруг. Но она справедливо полагала, что в темноте никто не будет разглядывать, как она обута.

Насладившись произведенным эффектом, Паша подошла к зеркалу и принялась озабоченно укладывать под пилотку мягкие пряди хотя и коротко стриженных для девушки, но все же слишком длинных для солдата русых волос.

Потом Михаил внимательно оглядел всю ее — с ног до головы — и не нашел в Савельевой ничего такого, что могло бы вызвать подозрение у настоящего немца, кроме сапог, но тут уж ничего поделать было нельзя.

Конечно, в июне сорок первого года в гитлеровской армии вряд ли можно было встретить такого заморыша, но сейчас стояло предзимье сорок третьего, и немцы посылали на фронт молодежь, не считаясь ни с ро-

стом, ни со здоровьем, лишь бы подошел призывной возраст.

Проснулся Неудахин. Ничуть не удивился, увидев в комнате троих в немецкой форме, посоветовал только Паше поглубже натянуть пилотку, чтобы, упаси боже, из-под нее не выбились волосы в самый неподходящий момент. Снова простуженно ухнули старые часы, подошло время выходить. По старому русскому обычаю все присели, как перед дальней дорогой. В комнате повисло напряженное молчание.

— Встали! — И Паша решительно вскочила на ноги.

Василий крепко пожал всем троим руки:

— Желаю удачи!

И трое, впереди Алексей, за ним Михаил и Паша, вышли во двор.

Пустынны, безлюдны были улицы Луцка в эти поздние часы. Ни огонька в занавешенных окнах, ни звука. Лишь изредка где-нибудь тявкнет собака. Строжайше запрещено местным жителям появляться в это время на улицах. Только железнодорожникам и рабочим вечерней смены, — словом, считанным лицам дозволено ходить по городу — со специальными ночными пропусками и обязательно посреди мостовой, чтобы издали были видны патрулю или полицаяу.

Это оккупационный режим, новый порядок.

Трое твердо, по-хозяйски шагают по тротуару, на шее автоматы, изготовленные к стрельбе. Впереди рослый фельдфебель, чуть сзади два солдата. Упаси бог им нарваться на такой же патруль. Схватка не страшна — на их стороне всегда остается неожиданность, но операция сорвется. И не на одну ночь — насовсем. Кто знает, сколько еще задержатся в Луцке проклятые снаряды и хватит ли времени разработать и осуществить новый план?

Нет, осечки сегодня быть не должно: Василий Неудакhin обязан сегодня уйти из города не с пустыми руками. Сейчас им нужен немец. Один-единственный. Без него не узнать пароля, а без пароля нечего и думать проникнуть на территорию складов. Из-за него, этого желанного немца, и шагает в сторону станции не предусмотренный караульным расписанием дополнительный наряд — фельдфебель и двое солдат, один из которых выглядит совсем мальчишкой.

...Обер-ефрейтор Краузе не мог жаловаться на свою судьбу. Луцк все-таки не фронт, да и с продуктами неплохо, почти каждую неделю удается отправить домой посылку с украинским шпиком и колбасой. Служба не из трудных, да и знакома давным-давно: пожарным был он лет двадцать в Кенигсберге, пожарным оставался и здесь. В обязанности его входило три раза в день обойти территорию артскладов, проверить, в порядке ли пожарные краны, сигнализаторы, инструменты. И отметить все аккуратнейшим образом в особой прошнурованной тетрадочке. Да, здорово ему повезло, курорт, а не служба. Правда, говорят, что в округе, да и самом городе действуют партизаны, но его, Краузе, немецкий бог пока милует, встречать не приходилось.

— Хальт! — Приятные размышления обер-ефрейтора прервал резкий оклик, в лицо пронзительно ударил луч света из нагрудного фонаря.

— Пароль?

— Рейн... — Краузе досадливо тер ослепленные глаза. Черт бы побрал этих жандармов с их фонарями, но все же спросил для порядка, а то еще придется к нарушению устава: — Отзыв?

Отзыва он так и не получил. Вместо него неожиданно сильный толчок в грудь — и в ту же секунду острая сумасшедшая боль пронзила и согнула пополам

его тело, вспыхнули и замелькали перед глазами красные и зеленые круги. Потом все исчезло.

Алексей и Михаил подхватили рухнувшего немца под руки и за ноги быстро оттащили в сторонку и запихнули уже безжизненное тело под дощатый мостик, переброшенный через придорожный кювет. Только ноги пришлось подогнуть в коленях, чтобы не торчали наружу.

Все произошло так быстро, что Паша не успела и дух перевести. Словно и не спешил только что домой со службы немецкий обер-ефрейтор. Осталось от него одно только слово. Пароль.

Теперь троем разведчикам предстояло самим миновать настоящего часового возле подъездных путей, ведущих на склад. Сотня шагов... Еще сотня... Еще...

— Хальт! Пароль?

Перед ними часовой. Автомат — прямо в грудь круглым острым зрачком. Палец на спусковом крючке. Лица не видно в тени глубокой каски.

— Рейн! — уверенно отвечает Ткаченко и уверенно же требует сам: — Отзывает?

— Рекс!

Часовой опускает автомат. Трое беспрепятственно минуют первый забор из колючей проволоки. Они идут дальше, только похрустывает под сапогами осенняя ломкая листва. Непреодолимо хочется оглянуться, что часовой? Неужто сошло? Усилием воли Паша заставляет себя спокойно идти дальше: оглядываться нельзя. Они назвали пароль правильно, получили отзыв, и часовому теперь нет до них никакого дела. Им до него тоже — убирать этого немца нет никакой необходимости.

Впереди показались длинные приземистые строения, чуть выступающие над каменным забором и двумя рядами колючей проволоки. Это склады.

У ворот двое часовых.

— Хальт! Пароль?

— Рейн! Отзыв?

— Рекс! Проходите!

И снова прыгает в мыслях: «Только не оглядываться!»

У немцев дисциплина. Солдатам-часовым ни к чему знать, зачем поздним вечером фельдфебельский наряд идет на закрытую территорию. Их дело проверить пароль. За остальное отвечает начальство. Но начальства нет. Единственный офицер дремлет на диване в дежурке.

Трое пересекают несколько подъездных путей и сворачивают к дальнему, на отшибе, одноэтажному зданию из красного кирпича без окон. Если сегодня днем снаряды не вывезли (такое не исключалось), они должны быть именно здесь, за этими толстыми кирпичными стенами.

У дверей застыл часовой, настороженный, внимательный, автомат — в сторону троих.

— Хальт! Пароль?

— Рейн! Отзыв?

— Рекс!

Но пароль действителен только для того, чтобы подойти к часовому. В склад он без письменного разрешения не пустит да и с поста без разводящего с места не двинется.

На ходу Ткаченко расстегивает верхний карман мундира, достает оттуда сложенный вчетверо листок бумаги и протягивает часовому... И в то мгновение, когда их руки встречаются, делает неожиданный шаг в сторону. Из-за спины Ткаченко черной тенью метнулся Михаил. Блеснуло под качающимся фонарем лезвие кинжала, и, глухо охнув, немец повалился на песок.

А Ткаченко припрятанным за голенище ломиком

(специально изготовленным в слесарке паровозного депо) уже выдергивал вместе с петлями увесистые висячие замки, оставшиеся еще с панских времен. Тяжелая, кованная железом дверь медленно, со скрипом отъехала по полозьям в сторону. Не намного, ровно настолько, чтобы в образовавшуюся щель мог проскользнуть солдат, похожий на мальчишку.

Ткаченко отвел дверь еще немного и затолкал внутрь здания тело часового, сам же встал на его место, прикрыв спиной щель. А Михаил уже огибал угол здания, спешил навстречу второму часовому, который должен был находиться где-то с другой стороны.

Паша на секунду прислонилась к внутренней стене. Но только на секунду. Потом взяла себя в руки, вынула из кармана электрический фонарик с потайной шторкой и огляделась. Узкий луч света пробежал по стеллажам. Тускло блеснули серебром массивные чушки. Вот она, цель! Снаряды хранились не в ящиках, а были аккуратно выложены на досках с полукруглыми вырезами-гнездами. Паша попробовала вытащить один снаряд из гнезда и ахнула — в нем было килограммов двадцать. «Как же Василий его потащит?..» — ужаснулась девушка.

«Нет, надо поискать другой. Может, найдется полегче», — наивно рассудила Паша и, действительно, чудом нашла кое-что «полегче»! В глубине склада Савельева обнаружила специальный стенд, на котором был укреплен отдельно развинченный стальной стакан и отдельно — небольшой продолговатый баллон со смертоносной отравляющей начинкой!

Немецкая инструкция — выставлять у каждого вида боеприпасов образец заряда — сослужила как нельзя лучшую службу советской разведчице. Паша осторожно открутила мягкие провололочные лапки и бережно

сняла баллон со стенда, спрятала под мундиром. Теперь можно уходить.

К двери шла без фонаря, ориентируясь на светлое пятно неба в проеме отодвинутой двери. У порога нога ее ступила на что-то мягкое, и Паша судорожно зажала ладонью рот, чтобы не вскрикнуть.

Пропустив девушку, Ткаченко осторожно, стараясь не скрипеть, задвинул дверь и, не поворачиваясь, чтобы не упускать из виду складской двор, стал отходить в угол.

У дальнего выхода их ждал Неизвестный. Он стоял в обычной позе немецких часовых: широко расставив крепкие ноги, обе руки на автомате... Куда делся настоящий часовой, спрашивать его не стали.

Теперь нужно назад, на Ковельскую. Они прошли быстрым шагом метров двадцать, как вдруг Паша остановилась.

— Ты что? — шепотом спросил ее Ткаченко.

— Придется вернуться к забору, Леша, — так же шепотом ответила Паша, и в голосе ее Ткаченко уловил скрытый упрек, — про махорку забыли.

Они действительно забыли про махорку — от собак. Единственное упущение. Но его не поздно было загладить. А махорки у каждого — полные карманы...



Паника поднялась, когда разводящий нашел возле здания, где хранились секретные снаряды, трупы обоих часовых. Солдаты были убиты наповал холодным ору-

жием, скорее всего обоюдоострым кинжалом. Замок с двери склада был сорван, образец химической начинки, хранившийся внутри здания на отдельном стенде, отсутствовал.

Еще через пятнадцать минут дежурный офицер лейтенант Вебер, находившийся в состоянии, близком к полубоморочному, уже давал показания примчавшемуся к месту происшествия следователю гестапо лейтенанту войск СС Шмидту. Вскоре к Шмидту присоединился и сам шеф гестапо доктор Фишер.

Стоило только доктору Фишеру узнать, что именно пропало со склада, как он тут же отдал распоряжение: всеми имеющимися силами перекрыть дороги, ведущие из Луцка, задерживать всех выезжающих, даже военнослужащих германской армии, подвергать их обыску, искать небольшой продолговатый баллон, в случае нахождения — немедленно доставить в гестапо, ни в коем случае не раскрывая и соблюдая все меры предосторожности. Задержанного с баллоном, кто бы он ни был, также немедленно доставить в гестапо, не подвергая допросу и в полной сохранности.

Приказ доктора Фишера был категоричен, но в успехе он сам не был уверен; опытный глаз (а у доктора Фишера был очень опытный глаз) с легкостью определил, что смерть часовых наступила несколько часов назад, и, следовательно, похитители имели достаточно времени, чтобы покинуть пределы города. Фишеру было абсолютно ясно, что люди, совершившие столь дерзкий налет и овладевшие столь ценной добычей, постараются ее переправить своему командованию, не теряя и минуты лишней.

Но не отдать такого приказа Фишер, разумеется, не мог, если не хотел усугубить свое и без того незавидное положение. Правда, формально он не отвечал за охрану складов — таковая целиком относилась к ком-

петенции военного ведомства, и то, что эта охрана оказалась вопиюще скверной (очень удачно для гестапо заснул на дежурстве этот болван лейтенант Вебер, которого теперь ждал полевой суд), в какой-то степени снимало ответственность с Фишера. Но другое обстоятельство ставило под серьезнейшее сомнение и шансы самого шефа гестапо выскочить благополучно из этой скверной истории: нападение совершили трое в германской военной форме. А это, без сомнения, означало, что в городе действовала группа советских разведчиков, тогда как Фишер не раз докладывал по начальству, что благодаря его неустанному рвению в Луцке в этом отношении все спокойно.

Фишер взглянул на листок бумаги, на котором успел написать пока только адрес: «Секретно. Государственной важности. Берлин, Принц-Альбрехтштрассе, 8. Начальнику Главного Управления Имперской Безопасности Обергруппенфюреру СС д-ру Кальтенбруннеру» — и почувствовал, как по спине его между лопатками пробежала противная холодная дрожь. Какова будет реакция Кальтенбруннера на эту телеграмму, Фишер догадывался.

Положение можно было исправить только одним: разыскать снаряд и вернуть. Сами похитители интересовали его уже в гораздо меньшей степени. Дело было не только в том, что русские получают в свое распоряжение образец новейшего оружия, а в том, **какого** оружия — **химического!** Неопровержимое доказательство того, что Германия готовится начать химическую войну против по крайней мере одной из союзнических держав!

Допрос лейтенанта Вебера ничего не дал. Почти всю ночь он дремал и узнал о происшествии, лишь когда разводящий унтер-офицер поднял тревогу. Слава богу, унтер оказался толковым парнем и ничего внутри здания не трогал, поэтому оставалась надежда, что крими-

налисты гестапо обнаружат отпечатки пальцев или какие-нибудь другие улики.

Гораздо больше проку дал допрос старшего постового у входа обер-ефрейтора Юнга и его напарника рядового Вильке. Юнг рассказал, что трое военнослужащих, вооруженные автоматами, вошли на территорию склада около одиннадцати часов вечера, но не вызвали у него ни малейшего подозрения. Пароль был назван старшим — фельдфебелем по званию правильно — «Рейн», почему он, Юнг, и пропустил его беспрепятственно. Рядовой Вильке целиком подтвердил, будучи допрошен отдельно, слова обер-ефрейтора. Оба часовых имели безукоризненную репутацию у своего прямого начальства, а также и у батальонного секретного осведомителя гестапо. Действовали они правильно, в полном соответствии с уставом и потому не могли быть привлечены к какой-либо ответственности.

Никаких особенных примет двоих диверсантов Юнг не запомнил, но третьего описал подробно. «Очень уж молодой и хрупкий, вроде подростка, лицо мелкое, должно быть, не бреется еще».

Утро принесло еще одну неприятность: украинский полицейский Денисенко при обходе своего участка заметил, что из-под мостка через придорожный кювет торчат чьи-то ноги в военных сапогах. По профессиональной любознательности Денисенко нагнулся и заглянул под мосток...

Ноги, как выяснилось, принадлежали пожарному обер-ефрейтору Краузе. Пожарный, без сомнения, был убит той же твердой, умелой рукой, что и два часовых на складе.

Фишер был неплохой контрразведчик и сразу понял, зачем троим потребовалось вроде бы беспричинно убрать этого обер-ефрейтора: они остановили его под видом патруля и потребовали назвать пароль, которого

не знали и без которого не смогли бы попасть на склад. Отзыва они тоже не знали, а потому и ликвидировали Краузе, чтобы не быть тут же разоблаченными.

Вернулись криминалисты, обследовавшие со специальным снаряжением склад. Отпечатков пальцев они ни на чем не обнаружили, не нашли и каких-либо материальных улик. Но нашли много отпечатков сапог (почва здесь была мягкая) и несколько отпечатков ладоней в перчатках на стенде и внутренней поверхности двери. Большинство отпечатков сапог никакого интереса не представляло — по территории склада ходят десятки, а то и сотни людей в армейских сапогах. Но если и выделить некоторые индивидуальные особенности подметок, то и тогда толку вряд ли добьешься, ибо, как справедливо полагал Фишер, этих сапог похитители никогда в жизни больше не наденут.

Но следы, оставленные на земле одним из посетителей, привлекли все же внимание гестаповца: их оставили даже не сапоги, а сапожки, которые могли принадлежать разве что подростку. Но сапог такого размера обувные фабрики армии вообще не поставляли! Более того, рисунок подошвы не соответствовал рисунку подошвы германского сапога!

Отпечаток ладони в перчатке, оставленный на стеллаже, тоже был каким-то детским. Судя по всему, фельдфебель и солдат обычного роста на склад не заходили, снаряд явно похитил маленький солдат с детской ладонью, обутый в нестандартные сапоги, тот, кого оберфрейтор Юнг описал как почти подростка.

— Но ведь не могли же русские взять на такую операцию ребенка, господин доктор! — недоуменно протянул лейтенант войск СС Шмидт.

И тут доктору Фишеру пришла в голову неожиданная мысль:

— Это и не был ребенок, лейтенант. Это была женщина!

Следователь гестапо Шмидт имел все основания считать себя неудачником. Его однокашники ходили уже в гораздо более высоких чинах, а он по-прежнему оставался лейтенантом войск СС. Да и следователем он стал совершенно случайно, после ранения в карательной экспедиции против ровенских партизан, а то сидеть бы ему командиром взвода в эсэсовском полевом полку и ожидать с тоскливой неизбежностью конца от партизанской пули.

Вести следствие он не умел, а потому ему поручались лишь дела очевидные, не требующие профессионального мастерства. Единственное, что он мог, это допрашивать с пристрастием, для чего, как известно, требуется минимальная физическая сила и определенные наклонности характера.

В другое время Фишер не стал бы выкладывать Шмидту свои соображения, но сейчас Шмидт был лицом официальным, первым следователем (он дежурил в ту ночь по управлению), прибывшим на склад, и волей-неволей Фишер обращался к нему:

— Да, лейтенант, несомненно, женщина, и в этом пока наша единственная зацепка. Кстати, мы знаем о ней не так уж мало: размер ноги, ширину шага, заметьте, что здоровые люди на ровной местности, если они не спешат, всегда делают шаги одинаковой ширины. Мы знаем, как она ставит ступни, у нас есть отпечаток ее ладони. К тому же, я не сомневаюсь, что обер-ефрейтор Юнг сумеет ее опознать.

— Но для этого нужно сначала ее задержать, — почтительно вставил Шмидт.

— Очень дельное замечание, — с нескрываемой иро-

нией парировал Фишер, — и боюсь, что нам всем придется в лепешку разбиться, но разыскать эту ночную красавицу. Кстати, лейтенант, я уверен, что она местная жительница. За линию фронта русская разведка обычно забрасывает женщин-радисток, которых никогда не привлекают к подобным операциям, у них другая обязанность — связь. Скорее всего это местная, хорошо знающая город, имеет, видимо, связи. Не исключено, что их было и не трое, а больше, для прикрытия отхода хотя бы.

Фишер умел рассуждать логично. Теперь он действительно был уверен, что маленький солдатик — женщина и что рано или поздно в таком небольшом городке, как Луцк, сумеет ее разыскать. И снова тяжелая мысль заставила его нервно передернуть плечами: поздно, будет слишком поздно. Даже если он и поймает девчонку, снаряд уже будет далеко...

Заставы на дорогах не принесли успеха ни в этот, ни в последующие дни. Было задержано и подвергнуто обыску несколько сот человек. Кого только не было среди них: и офицеры вермахта, и немецкие коммерсанты, и крестьяне, приезжавшие на базар из окрестных сел, и два деревенских попики, страшно смущенных тем, что при обыске им бесцеремонно задрали рысы.

И ни у кого из них не было обнаружено ничего похожего на смертоносный баллон: ни у офицеров, ни у коммерсантов, ни у крестьян, ни у двух попиков.

Заряд исчез, растворился без следа. Когда первые гитлеровские патрули перекрывали ближние и дальние выезды из города, Василий Неудахин уже передал пакет с баллоном партизанскому связному, поджидавшему его на «зеленом маяке», а этот связной под усиленной охраной в тот же день доставил его в Цуманские леса, в штаб особого чекистского отряда «Победители».



Два дня в отряде ждали обещанный самолет из Москвы. И не дождались: по всему маршруту стояла нелетная погода. Самолеты, конечно, вылетали, но из-за низкой свинцовой облачности, окутавшей землю, словно ватным одеялом, летчики так и не смогли разыскать лагерь. И тогда из Москвы поступил новый приказ: немедленно доставить баллон с ОВ в распоряжение советских войск своими силами. В приказе сообщалось, что командиры всех воинских частей по линии фронта будут предупреждены.

Командование отряда перебрало имена десятков разведчиков и бойцов, чтобы отобрать тех, кто, невзирая ни на какие препятствия, сумеет выполнить ответственный задание. Отобрали троих: Серафима Афонина, Владимира Малышенко и Василия Таланова. Старшим назначили Афонина. Высокий темноволосый парень с голубыми глазами, он был превосходным разведчиком, хотя в своей предыдущей жизни учителя сельской школы к этой роли никогда не готовился.

Сима, как звали его друзья, был родом из Мордовии. Война застала его на действительной службе неподалеку от Ровно. В один из самых первых дней он был ранен и контужен в бою. Очнулся за колючей проволокой в ровенском лагере для военнопленных. Как только Серафим немного оправился после ранения, он с несколькими командирами бежал из лагеря, сумел укрыться в городе, а затем стал активным участником группы ровенских подпольщиков.

Афонин выполнял важные задания командования, несколько раз действовал совместно с легендарным Николаем Кузнецовым. Был смел, хитер, выдержан. Как сельский житель, прекрасно ориентировался в лесу. Словом, с любой точки зрения он подходил для выполнения той миссии, которая ему теперь предназначалась.

И вот один за другим трое разведчиков входят в командирский «чум». Все готовы к переходу. Собраны вещевые мешки с продовольствием, в порядке оружие: пистолеты, ручные гранаты, ножи. Больной Медведев, лежа на кровати, дает последние указания. Перед ним карта.

— Вот ваш маршрут, — морщась от боли, с трудом говорит Дмитрий Николаевич. — Пойдете прямо на север. Идти будете лесом, по компасу. Пройдя двадцать километров, выйдете на поляну. Пересечете ее с юга на север и снова углубитесь в лес. Через десять километров повернете на восток. Лес окончится, и вы окажетесь на горыньской пойме севернее Степани. Здесь вам предстоит переправа через Горынь. На той стороне снова войдете в лес. Там же, в лесу между Сарнами и Степанью, вы должны выйти на наши передовые части. Пойдете вечером, пакет получите перед выходом. Пока отдыхайте.

В пять вечера одного только Афонина снова вызвали в штаб и вручили ему продолговатый объемистый пакет, обшитый плотной мешковиной. Дали инструкцию: не раскрывать, в случае самой крайней опасности уничтожить. Если вдруг не встретят, требовать от любого бойца, чтоб доставили в штаб дивизии. Оттуда немедленно отправят в Москву.

Далее следовало указание, кому именно в Москве надлежит Серафиму Афонину вручить пакет. Сам разведчик о его содержимом узнал только спустя много лет.

Когда партизаны вошли в лес, уже стемнело, воздух был чист и прохладен. Первый переход длился без остановки до самого утра. Останавливались лишь для того, чтобы сверить по компасу правильность взятого направления. Утром немного отдохнули и пошли дальше. Теперь дорога пролежала не по лесу, а торфяному болоту. Идти было трудно: сапоги вязли, каждый шаг требовал усилия, ноги гудели от усталости.

Настоящий привал сделали только в полдень, прямо на болоте, лишь выбрали местечко посуше. Закусили хлебом и самодельной партизанской колбасой. Мучительно хотелось спать, но не ложиться же в мокрый торф. Разыскали старую, поваленную бурей осину и решили спать по очереди на стволе: один будет спать, а другие придерживать, чтоб не свалился. Так и отдохнули, каждый урвал минут по сорок беспокойного сна на этой странной постели... Остаток дня и вся ночь ушли на то, чтобы выбраться из болота на твердую почву.

На рассвете разведчики, наконец, оказались в настоящем сосновом лесу. Здесь уже можно было развести маленький костер, чтобы согреться и высушить обувь.

До сих пор им везло — не встретили ни одного человека, только видели несколько раз серые тени волков. Отдохнув, снова двинулись на север. Через несколько часов на опушке леса увидели одинокую белую хату. Решили зайти, чтобы узнать, какое поблизости село и кто в нем: немцы или бандеровцы. Убедившись, что вокруг никого нет, зашли.

В хате было тепло и уютно. Хозяев трое: старуха на печи, девушка в накинутом на плечи полушубке и какой-то молодой человек на кровати, похоже — больной. Возле кровати на табурете лежала его одежда. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы Серафим понял, больной парень — бандеровец.

Сев на кровати, парень стал задавать вопросы гостям: кто такие, откуда и куда идут, чего надо.

— Мы беглые из плена, — как можно естественнее ответил Серафим, — пробиваемся к своим.

— Ну, дальше Горыни вам не уйти, — махнул рукой парень, — оставайтесь лучше здесь. Завтра за мной придут, запишу вас к себе в курень.

— Да нет, нам с тобой не по дороге, — отказался Афонин, — мы пойдем по своей. Дай нам только хлеба, табаку, и мы уйдем.

Старая хозяйка, свесившись с печи, злобно прошамкала:

— Нема у нас хлиба, и тютюну нема.

— А это что, мамаша? — и Серафим указал на несколько круглых паляниц на полке.

— Бросьте вы... Дайте хлопцам, что они просят.

Только выйдя на порог, разведчики сообразили, что молодайка в полушубке, лишь они заговорили с бандеровцем, незаметно выскользнула из хаты и исчезла, нигде во дворе ее видно не было.

Афонин присвистнул:

— Вот так гостеприимные хозяева, теперь жди погони.

Быстрым шагом разведчики направились к лесу и долго шли без остановки, чтобы оторваться от возможного преследования. Когда остановились, чтобы свериться с картой, обнаружили, что поляна осталась далеко правее, теперь они находились километрах в двадцати от того места, где, по инструкции, должны были повернуть на восток.

И снова они шли несколько часов по лесу, и снова наткнулись неожиданно на одинокую хату. И тут же грубый оклик:

— Стой!

Возле изгороди стояли трое в черной форме. На фу-

ражках бандеровские трезубы, в руках винтовки. Один скомандовал:

— Ходить сюды!

Тут же, не сговариваясь, разведчики метнулись назад, в спасительную темь. Вдогонку им загремели выстрелы...

Несколько часов партизаны уходили от погони, не останавливаясь ни на минуту. У Серафима нестерпимо заломила давно пораненная нога, но о привале нечего было и думать. Тогда он сбросил сапоги, уложил их в вещевой мешок и пошел дальше в одних носках. Так было легче, а холода он при быстрой ходьбе не чувствовал. Обидно было, конечно, и Серафиму, и его товарищам вот так уходить от горстки бандеровцев, в другое время... Но приказ командования был категоричен: ни в какие схватки с противником не вступать, ваша задача — доставить пакет по месту назначения в целости и сохранности. Ребята отлично понимали это, но все-таки было обидно.

Поздним вечером, когда уже стемнело, лес незаметно кончился, под неверным лунным светом перед разведчиками черной рваной полосой открылась Горынь. Вышли!

Первым переправился через реку Таланов, за ним Малышенко, последним Афонин. Когда Серафим с трудом карабкался на высокий крутой берег, у него под рукой обломилось корневище, и он чуть не сорвался с откоса вниз. В последний миг Малышенко, отличавшийся богатырским сложением, успел подхватить Афонина и легко, как ребенка, вытащил на берег. Благодарный Серафим невольно вспомнил, как в недавнем бою огромный Малышенко бил по немцам из пулемета... с рук, словно отбойным молотком работал. И откуда только у него такая фамилия?

Не успели разведчики встать на ноги и отряхнуться,

как на оставленном ими берегу грохнул выстрел, в воздух взвились ослепительные ракеты, высветив берег. Потом поднялась яростная пулеметная и винтовочная стрельба. Видно, бандеровцы нащупали-таки их следы.

Ночь разведчики провели в лесу. Разыскивать передовые подразделения Красной Армии в темноте было рискованно: и на этом берегу Горыни не исключалась возможность встречи с разрозненными группами бандеровцев или немцев. Да и свои могли пострелять прежде, чем разведчики успели бы объясниться.

На лесной поляне Малышенко разыскал копну обмолоченных снопов. Решили по очереди спать в снопах. Переночевав, двинулись дальше на север. Шли осторожно вдоль дороги, прячась за стволами густых елей. Шли часа два, когда чуткий слух Афонина выхватил из обычного лесного шума скрип телеги. Люди! Разведчики притаились за деревьями, а на лесной дороге из-за поворота одна за другой показались несколько повозок. Вот первая из них поравнялась с деревом, за которым залег Афонин. Он отчетливо расслышал несколько слов — люди на повозках разговаривали между собой по-русски! А на их шапках, он явственно различил, горели родные пятиконечные звездочки. Свои! Это были свои!

С криком «Товарищи! Товарищи!» разведчики выбежали на дорогу. Бойцы в повозках вскинули оружие против трех оборвавшихся в лесной чащобе, облепленных грязью с головы до ног, обросших четырехдневной щетиной людей. Но не стреляли, только смотрели настороженно...

Откуда-то из хвоста обоза подъехал верховой, тоже со звездочкой на фуражке и с... погонями на плечах. У Серафима екнуло сердце: что за напасть, на кого они напоролись?! С облегчением вспомнил, что комис-

сар Стехов рассказывал о введении в Красной Армии новых знаков различия — погон.

— Кто вы такие? — строго спросил верховой, как потом выяснилось — лейтенант.

— Мы советские партизаны, — ответил Афонин, — по заданию своего командования перешли линию фронта. Просим немедленно доставить нас в штаб ближайшей воинской части.

Лейтенант скептически оглядел всех троих, видимо, внешний вид партизан не внушал ему особого доверия. Серафим понял его колебания и улыбнулся.

— Вас что, одежда наша смущает? Так мы ж четыре дня в лесу, через Горынь переправлялись... Ладно, возьмите пока наше оружие.

По его знаку разведчики выложили прямо на дороге пистолеты, гранаты, ножи. Уже не колеблясь, лейтенант предложил партизанам сесть на повозку и сам доставил их к командиру батальона. Комбат сразу позвонил в штаб дивизии и доложил, что его бойцы встретили трех довольно странного вида человек, которые называют себя партизанами, выполняющими особое задание. Договорить ему не дали.

— Значит, перешли?! — Услышал он в трубке радостный голос комдива. — Немедленно доставить товарищей в штаб.

Остальное разведчики пережили как во сне.

В штабе дивизии их принял генерал, расцеловал каждого, приказал накормить, вернуть оружие и... уложить спать. В последнем разведчики нуждались, действительно, больше всего. А когда проснулись (им казалось, что спали они всего несколько минут, на самом деле — почти сутки), их уже ждал штабной автомобиль.

Обедали разведчики и сопровождавший их капитан в Киеве, ночевали в полуразрушенном Гомеле, второй

раз пообедали в Смоленске, а к вечеру покрытая густым налетом дорожной пыли машина остановилась возле большого серого дома в самом центре Москвы.

В вестибюле их ждали какие-то люди в военной и штатской одежде и, ни о чем не расспрашивая, провели мимо часовых к лифту. Наверху они долго шли по длинному пустому коридору, застланному ковровой дорожкой, и наконец очутились в просторной приемной.

Навстречу им поднялся офицер с золотыми (!) погонами и непонятно что обозначающей полоской из разноцветных ленточек над левым карманом кителя. Офицер, приветливо улыбаясь, пожал всем троим руки и представился:

— Майор Ряшенцев.

Потом, обращаясь к Серафиму, спросил:

— Вы командир группы? Ваша фамилия Афонин?

— Так точно, товарищ майор.

Ряшенцев продолжал:

— Генерал говорит по телефону, просил подождать две-три минуты. Садитесь, пожалуйста, — и он гостеприимно указал на массивные кожаные кресла.

Разведчики присели, еще не веря, что все происходит с ними наяву. Что за окном приемной раскинулась Москва, о встрече с которой они мечтали два с половиной года и, если говорить откровенно, не очень рассчитывали порой, что встреча эта когда-либо состоится.

Вдруг Афонин встрепенулсЯ, словно вспомнив что-то:

— Товарищ майор, — тихо спросил он, — скажите, передать пакет я должен буду именно этому товарищу генералу?

— Ну конечно же, — ответил майор, — именно этого генерала имело в виду ваше командование, когда отправляло сюда.

— В таком случае, — смущенно попросил Афонин, — дайте мне, пожалуйста, какие-нибудь ножнички, или, может, бритвочка у вас найдется, еще лучше.

Несколько озадаченный майор порылся в ящике стола и протянул Афонину лезвие от безопасной бритвы. Серафим отошел к окну и стал осторожно распарывать пузырь галифе, от кармана и вниз, до самого колена.

— Ая-яй! Нехорошо получается, молодой человек! — услышал он вдруг над собой веселый голос. — Ну и как вы собираетесь потом отсюда в гостиницу с порезанными штанами идти?

Серафим поднял голову. Над ним стоял среднего роста черноволосый, с проседью человек и дружелюбно, как старому знакомому, протягивал небольшую крепкую ладонь.

— Ничего, товарищ генерал, — вполне серьезно ответил Афонин, — зато без лишней тяжести.

И он протянул генералу продолговатый пакет, обшитый плотной мешковиной.

— Что ж, в этом вы, пожалуй, правы, — приняв баллон и крепко пожав разведчику руку, сказал генерал. — А о галифе не беспокойтесь, выдадим новые, московские. А пока прошу ко мне, товарищи. — И радужным жестом пригласил партизан к распахнутой двери кабинета.

14. ДВА ГОДА СПУСТЯ

Сумрачный, напряженно ожидающий зал Нюрнбергского Дворца юстиции, где заседает Международный Военный Трибунал для суда над главными немец-

кими военными преступниками. Большие окна закрыты тяжелыми, плотными портьерами, откуда-то сверху и сбоку льется искусственный свет. От него, этого мертвенного света, лица подсудимых на двух скамьях кажутся нереальными, словно принадлежащими не людям, а выходцам из другого мира, лежащего за гранью добра и зла. Да так оно и есть на самом деле.

Перед главным обвинителем стоит опрятно одетый человек с учтивыми манерами и благообразной внешностью университетского профессора. Но это не университетский профессор (хотя он и был когда-то давно дипломированным архитектором). Это Альберт Шпеер. Личный друг и любимец Гитлера. Член нацистской партии, рейхслейтер, член рейхстага, имперский министр вооружения и снаряжения, глава организации Тодта и председатель совета вооружения.

Все эти звания с приставкой «бывший». В настоящее же время подсудимый. Один из главных немецких военных преступников. При опросе подсудимых 21 ноября 1945 года на предъявленные ему обвинения Альберт Шпеер ответил: «Не виновен».

Но сейчас он отвечает на конкретные вопросы обвинителя.

ВОПРОС. Я хочу спросить вас о вашем показании по поводу предложения об отказе от Женевской конвенции. Вчера вы показали, что было внесено предложение отказаться от выполнения пунктов Женевской конвенции. Может быть, вы нам скажете, кто внес такое предложение?

ШПЕЕР. Это предложение, как я уже вчера говорил, было выдвинуто Геббельсом... начиная с осени 1944 года Геббельс и Лей начали поговаривать о том, что надо всеми средствами обострить войну...

ВОПРОС. В то время было выдвинуто предложение начать химическую войну? Было тогда внесено такое предложение?

ШПЕЕР. Я не прямо мог сам лично установить, действительно ли намеревались начать химическую войну. Но я знал от различных сотрудников Лея и Геббельса, что последние ставили вопрос о применении наших новых газов «Табун» и «Зарин». Они считали, что оба эти газа будут особенно эффективны, и на самом деле действие их было ужасным. Это мы почувствовали уже осенью 1944 года, когда положение очень обострилось и заставило многих беспокоиться.

ВОПРОС. Не расскажете ли вы нам сейчас об этих двух газах, о производстве этих газов, об их свойствах, а также о той подготовке, которая проводилась для ведения химической войны?

ШПЕЕР. Я не могу рассказать об этом подробно потому, что я не специалист в этом деле. Я знаю только, что эти газы были особенно эффективны, что от них не мог спасти никакой противогаз, то есть не было никаких защитительных средств. Другими словами, солдат не мог защититься от них. Мы имели три завода, вырабатывавших эти газы, которые совершенно не были разрушены и до ноября 1944 года работали на полную мощность.

ВОПРОС. Возвратимся к свойствам газа. Одним из свойств этого газа было то, что он выделял большое количество тепла. В момент, когда происходил взрыв, создавалась чрезвычайно высокая температура, от которой ничто не могло защитить. Это правильно?

ШПЕЕР. Нет, это ошибка. Дело обстоит следующим образом: обычные газы испаряются при нормальной температуре воздуха. Этот газ испарялся только лишь при очень высокой температуре, а температура повышалась до необходимого предела только тогда, когда происходил взрыв.

Когда взрывчатое вещество взрывается, создается, как известно, очень высокая температура, и газ испаряется. Твердое вещество превращается в газ. Но действие его совершенно не зависит от температуры.

ВОПРОС. Известно ли вам, что с этим газом проводились различные опыты?

ШПЕЕР. Нет, этого я не могу сказать. Наверное, делали опыты.

ВОПРОС. Кто возглавлял проведение этих опытов?

ШПЕЕР. Насколько мне известно, его возглавлял отдел усовершенствования управления вооружения штаба сухопутных войск, только я не могу этого сказать с уверенностью.

Гитлеровская клика вынуждена была внять суровому предупреждению правительств стран — участниц антифашистской коалиции. Она не рискнула пустить в ход «табун» и «зарин». Но жертвой «циклона» все же стали сотни тысяч, если не миллионы людей. Не на фронте — в газовых камерах гитлеровских лагерей смерти. Подлое оружие, оно и применялось подло. Министр Шпеер на процессе юлил и изворачивался. Комendant Освенцима Рудольф Гесс в своих показаниях был откровенен до цинизма.

ГЕСС. ...Начальник лагеря в Треблинке... применял газ «моноксид», но считал, что этот метод не очень эффективен. Поэтому, когда я устроил в Освенциме помещение для уничтожения, я применял «циклон Б» — кристаллизованную синильную кислоту, которую мы бросали в камеру смерти через небольшое отверстие. В зависимости от климатических условий в этой камере люди умирали в течение 3—15 минут. О наступившей смерти мы узнавали по тому, что находившиеся в камере люди переставали кричать...

...7. Другое усовершенствование, которое мы провели по сравнению с лагерем Треблинка, было то, что мы построили нашу газовую камеру так, что она могла вместить 2 тысячи человек одновременно, а в Треблинке десять газовых камер вмещали по 200 человек каждая...



Доктору Фишеру, да, впрочем, и многим другим ответственным сотрудникам луцкого гестапо, повезло необычайно. Лейтенант Вебер, проспавший на своем де-

журстве похищение химического снаряда, пошел под суд, был разжалован и расстрелян. Начальник складов был также разжалован, но не расстрелян, а отправлен рядовым на Восточный фронт, что многими его сослуживцами рассматривалось, и довольно справедливо, как тот же смертный приговор, но растянутый на неопределенный срок.

Доктор Фишер не был даже освобожден от занимаемой должности начальника луцкого отделения гестапо. Он отделался строгим выговором, вынесенным ему лично Кальтенбруннером. Причем приказ пришел секретной почтой и не подлежал оглашению перед сотрудниками. Неожиданное мягкосердечие шефа главного управления имперской безопасности объяснялось не какой-то его особой любовью к Фишеру. Скорее всего до злополучной истории с похищением Кальтенбруннер вообще не знал, кто стоит во главе гестапо в Луцке.

Но, когда в Берлин пришла телеграмма из Луцка, Кальтенбруннер и начальник VI управления его ведомства бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг под непосредственным наблюдением самого рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера разработали в величайшей тайне покушение на «Большую тройку» — лидеров антигитлеровской коалиции Сталина, Рузвельта и Черчилля, которые в ноябре 1943 года должны были встретиться на конференции в Тегеране.

Немецкая разведка сумела тогда заблаговременно узнать о предстоящей конференции и предложила Гитлеру авантюристический, в сущности, план, выиграть войну одним ударом, физически уничтожив трех лидеров союзнических стран. Гитлер план одобрил, внес в него кое-какие поправки и приказал осуществить любой ценой.

Кальтенбруннер и Шелленберг отправили в Иран

лучших террористов, какими только располагало гестапо и СД — служба безопасности. Отправил в Тегеран своих людей и шеф военной разведки — абвера — адмирал Вильгельм Канарис. Но тщательно подготовленная операция закончилась полным провалом. Русские, оказывается, с самого начала были осведомлены о покушении и приняли необходимые меры предосторожности. Как стало известно лишь много лет спустя, советские разведчики находились даже... в составе тщательно подобранных немецких террористов.

Поначалу Кальтенбруннер, занятый подготовкой к покушению, просто отложил на месяц неприятную историю с похищением химического снаряда. Но после провала «Дальнего прыжка» в Иране докладывать Гиммлеру и Гитлеру еще и о тяжелейшем поражении в Луцке было самоубийственно для Кальтенбруннера. И он и Шелленберг и так только чудом избежали бешеного гнева фюрера.

Обо всех этих высших соображениях доктор Фишер, разумеется, не догадывался и был счастлив, что беду пронесло. Но хитроумный Фишер вряд ли был бы так благодарен своей счастливой судьбе, если бы знал, что одновременно Кальтенбруннер отдал еще более секретный приказ, устный, с глазу на глаз, начальнику гестапо группенфюреру СС Мюллеру: как только луцкое дело раскроется, доктора Фишера убрать.

Но доктор Фишер, приняв полученный им приказ за чистую монету, немедленно развил бурную деятельность. До сих пор мы не можем сказать, кто из его шпионов напал на след Паши Савельевой и ее друзей. Следствие, проведенное компетентными органами после освобождения Луцка от оккупантов, никаких определенных результатов не дало. Молва называла имя одного человека, но его самого немцы расстреляли в тюрьме. И что это было — уничтожение ставшего

ненужным предателя или убийство оболганного честного человека, мы уже, наверное, никогда не узнаем. Ни подтвердить эту молву, ни опровергнуть ее некому, а потому никто ее не вправе повторять сейчас. Может, и отыщутся еще неизвестные архивы или обнаружится живой свидетель тех событий и тайное станет явным: мы узнаем, почему погибло луцкое подполье. Пока же мы знаем точно только, как умирали герои.

Гестаповская сеть работала не одну неделю, следователи тщательно изучали множество донесений, и важных, и не очень, сортировали по степени значимости, анализировали, связывали между собой или отвергали как не заслуживающие внимания.

И только в конце декабря гестапо нанесло удар. В два дня были арестованы свыше тридцати человек — за шесть недель до освобождения города от оккупантов. И все же гестапо поспешило, подгоняемое залпами советских орудий.

О поспешности можно говорить уже по тому, что часть арестованных за недостатком улик была в скором времени освобождена. После трех допросов оказался на свободе даже Алексей Ткаченко, а уж за ним было столько дел, что, догадываясь следователи гестапо хоть об одном из них, не миновать бы Алексею мучительной смерти в застенке.

Мария Ивановна Дунаева была взята на своей квартире в доме по Театральной улице. У нее в это время находились подпольщики Петр Болдырев (под этой фамилией скрывался в Луцке чекист Петр Ботвинкин), Зинаида Борщевская и Петр Калинин. Болдырев попытался было выхватить оружие, но немецкий солдат успел оглушить его ударом приклада по голове.

Алексей Ткаченко в то утро, как обычно, шел на работу, прихватив с собой корзинку, чтобы в перерыв

сходить на базар за продуктами. Возле пивоваренного завода его остановили двое в штатском. Один спросил:

— Вы будете Ткаченко?

— Я...

— Вы арестованы, сопротивление бессмысленно.

Алексей и сам понимал, что сопротивление бессмысленно — оружие он без надобности с собой никогда не носил. Его посадили в тут же появившуюся из-за угла легковую машину и отвезли в городскую тюрьму, там заключили в камеру, где уже сидели арестованные раньше подпольщики Николай Харламов и Федор Головань. Еще в машине Ткаченко обыскали, но ничего компрометирующего не нашли.

Ткаченко чувствовал себя настолько уверенно, что попросил одного из арестовавших его агентов гестапо отнести домой пустую продуктовую корзинку. Просьба эта показалась гестаповцу настолько наивной и дикой, что он... действительно отвез позже корзинку на квартиру Алексея.

Так же спокойно и уверенно держал себя Алексей и на последующих допросах. Против него было выдвинуто одно-единственное обвинение: у него дома одно время жила старушка, в которой немцы подозревали мать партизанского связного. Откуда немцы располагали такими сведениями — неизвестно, но они были совершенно точными.

Ткаченко и не думал ничего отрицать. Пожав плечами, он чистосердечно признался:

— Точно, жила у меня месяца два старушка, глухонемая (это была правда), помогала по хозяйству, но, кто она такая, я не знал (это уже была неправда), ведь с ней не поговоришь. Потом она заболела и уехала куда-то в деревню к родным (снова правда), а куда именно, не знаю (снова неправда).

На том и стоял непоколебимо, сколько ни бился с ним следователь. Какую роль играл Ткаченко в организации, немцы так и не узнали. Не установили они и факта его связей с Савельевой. Об этом можно судить по трем запискам, которые Паша ухитрилась через уборщика тюрьмы передать из женского отделения в камеру, где сидел с несколькими товарищами Ткаченко.

Первая записка: *«Алексей, держись. О тебе на следствии еще ничего не знают».*

Во второй записке Паша сообщала, что ее сильно избили, но о Ткаченко по-прежнему ничего не спрашивали.

И третья записка. Трагическая. Прощальная.

«Алексей, я погибла, для меня выхода нет. Привет вам».

Ткаченко вырвался на свободу, скрылся в деревне и вернулся в Луцк после 5 февраля, когда город был освобожден войсками Красной Армии.

...Паша Савельева была арестована 22 декабря 1943 года. Утром возле одноэтажного, но высокого кирпичного дома в пять окон на Хлебной улице оставилась крытая грузовая машина, набитая гестаповцами и полицейскими. На яростный стук в дверь открыла Пашина тетя, Ефросинья Дмитриевна. Завидев гестаповца, охнула, схватилась рукой за сердце...

Паша никогда не разговаривала ни с матерью, ни с тетей о своих делах, связанных с подпольем и разведкой. Но нельзя жить вместе месяцы и годы, есть каждый день за одним столом, спать на соседних кроватях — и ни о чем не догадываться. Не зная ничего конкретного, и Евдокия Дмитриевна, и тетя прекрасно понимали, что Паша связана с партизанами. И прекрасно знали, что, если разоблачат ее немцы, повесят.

Знали — и молчали. Ни разу ни мать, ни тетя ни словом не упрекнули Пашу, что ставит дочка и племянница под удар не только себя — всю семью, ни разу не спросили, что за неизвестные люди посещают иногда днем, а иногда и ночью их дом, что за вещи прячет порой Паша в подполе, кто их приносит и кто уносит. Ни разу не высказали, сколько страхов пережили за нее в эти тридцать месяцев оккупации. Все знали, все понимали — и молчали.

В дверях стояли трое: два немца-гестаповца в длинных кожаных пальто и широкополых шляпах, руки в карманах, третий — полицейский с белой повязкой на рукаве грязного нагольного полушубка.

По знаку старшего немца полицейский тряхнул Ефросинью Дмитриевну за плечи:

— Савельева Прасковья здесь проживает?

— Здесь, — только и вымолвила Пашина тетя.

Грубо оттолкнув ее в сторону, полицейский освободил немцам дорогу в комнаты. Возле круглого обеденного стола старший гестаповец на ломаном русском языке спросил:

— Где есть Савельева Прасковья?

Евдокия Дмитриевна в то время болела — снова одолевали ноги, она почти не вставала с кровати. Сразу поняла, что с дочкой стряслась беда. Стараясь унять судорожно забившееся сердце, перебирала в памяти, нет ли чего в доме, что при обыске обернется против Паши. Вроде бы ничего, но кто знает, где и что прячет дочка...

— Ну ты, старая, оглохла, что ли? — нетерпеливо рявкнул полицейский.

— Нету ее... — тихо ответила Евдокия Дмитриевна. Старший немец обвел глазами комнату — прятаться здесь негде. Строго посмотрел на больную.

— Где есть Савельева Прасковья?

— Да где ж ей быть-то, — глухо вымолвила Евдокия Дмитриевна, — в это время? На работе она своей... В банке.

Гестаповец переглянулся со вторым гестаповцем в коже, что-то коротко приказал, а сам, так и не вынув рук из карманов, направился к двери. Что именно он приказал, Евдокия Дмитриевна поняла, лишь когда в комнату ввалились несколько гестаповцев и полицейев и начали обыск.

16.



Как всякий советский разведчик или подпольщик, Паша не раз и вольно и невольно представляла реальнейшую, к сожалению, возможность разоблачения и ареста. Никаких иллюзий по этому поводу у нее не было и быть не могло. Она прекрасно знала, что ожидало советского человека, попавшего в лапы гестапо, какие муки ему приходилось там принимать, какие девять кругов Дантова ада он проходил, пока жизнь его в конце концов не обрывала петля или, в лучшем случае, пуля. Она знала, что в гестапо работают профессионалы, зачастую настоящие мастера сыска и следствия и что поединок с ними в камере нелегкое испытание, победителем из которого может выйти только человек высочайшего мужества, огромной силы воли, умный, изобретательный.

Десятки раз представляла Паша, как может прои-

зойти самое страшное — арест, но не предполагала, что на самом деле все будет так просто и буднично.

Вошли в операционный зал двое, один постарше в долгополом кожаном пальто и шляпе, внешность второго она даже и не запомнила. Немцы. Подошли прямо к ее окошечку, видимо, узнали у швейцара, где ее рабочее место. Тот, что в кожаном, коротко спросил: — Савельева?

И, не дожидаясь ответа, прошел за загородку, куда, как известно, «вход посторонним строго запрещен». Рывком поднял с табурета, короткие сильные пальцы его с рыжеватым волосом мгновенно обшарили ее всю, с ног до головы. От омерзительного этого грубого ощупывания к горлу подкатила тошнота. С неожиданной для себя силой оттолкнула наглые руки.

— Как вы смеете!

— Молчать! — гестаповец оттолкнул Пашу в сторону и теми же молниеносными, уверенными движениями прощупал каждую складку Пашиного пальто, висевшего на дверке, потом с грохотом выдвинул все ящики ее бюро.

К ним, взволнованно пыхтя, торопился уже из своего кабинета коротенький юркий немец — заведующий отделением, непосредственный Пашин начальник.

— Что здесь происходит, господа, почему вы зашли за барьер?

Немец в кожаном пальто вместо ответа молча сунул заведующему в руки розовый листок бумаги с большой круглой печатью. Тот быстро прочитал, руки его заметно дрожали. Он вернул листок человеку в кожаном, пристально посмотрел Паше в глаза и со скрытым сочувствием тихо сказал:

— Фрейлейн, это ордер гестапо на ваш арест.

Паша уже успела взять себя в руки. Она не должна выглядеть виноватой — это лишняя улика против

нее, надо держаться спокойно и уверенно. Она надела пальто и постаралась как можно естественнее произнести:

— Не беспокойтесь, герр заведующий, я уверена, что это недоразумение, моя совесть совершенно чиста.

— Понимаю, понимаю, — засуетился заведующий, и, кроме сочувствия, Паша явно уловила в его голосе и страх.

Что ж, если ее действительно разоблачили, безвредному толстяку тоже может не поздоровиться, хоть он и немец.

Пашу вывели через примолкший операционный зал на улицу, втолкнули в крытый грузовик. Мотор взревел, и, громяхая по мостовой, машина помчалась к городской тюрьме, перестроенной из старого католического монастыря, почти напротив замка Любарта.

В канцелярии тюрьмы длинный, с унылым, невыразительным лицом комендант Роот (его хорошо знали в городе) заполнил протокол на доставку арестованного, отобрал у Паши документы, часы, деньги.

— Почему меня сюда привезли, за что? — спросила Паша.

Роот только безразлично пожал узкими плечами:

— Меня это не касается, фрейлейн, вам все объяснит следователь. Но зря сюда таких, как вы, не привозят.

Потом Роот вызвал надзирателя и тем же деревянным, скучным голосом приказал:

— Отвести в четырнадцатую.

Четырнадцатая оказалась узкой, но довольно длинной комнатой с низким полукруглым потолком. «Должно быть, бывшая монастырская келья», — догадалась Паша. Скупое декабрьское солнце еле пробивалось через крохотное, давным-давно немытое, да к тому же еще и зарешеченное оконце. Блеклые, словно неживые

лучи света падали на серый, покрытый запекшейся грязью каменный пол правильными квадратами. И показалось в первую минуту Паше, что это не ее бросили в тюремную камеру, а самое солнце упрятали за решетку.

Вся обстановка камеры состояла из нескольких железных кроватей с ножками, заделанными в цементный пол, покрытых тонкими соломенными тюфяками (несколько таких же тюфяков валялось прямо на полу), и параша возле двери. Дверь узкая, тяжелая, дубовая, кованная железом, с глазком в форточке, через которую, догадалась Паша, в камеру передавали пищу, не оставляла никаких надежд, словно дверь только закрывают, а для открывания она и не приспособлена вовсе...

В камере, где, судя по койкам и тюфякам, могло разместиться человек десять (на самом деле сюда набивали и двадцать, и сорок), пока никого не было. Паша присела на угол койки, облокотившись о колени и уткнувшись подбородком в ладони. Что-то будет дальше?

Но гадать нечего, нужно трезво рассчитать, в чем ее могут обвинить, нельзя дать поймать себя на провокацию. Паша решила, что никаких фактов, относящихся к ее личной биографии, отрицать не будет, никаких уклончивых и двусмысленных ответов, которые можно истолковать как угодно. На все опасные вопросы лучше всего отвечать «не знаю». Будут пытаться — пускай пытаются, она уверена, что никого не выдаст. Но смолчать мало, нужно победить в единоборстве, чтобы вырваться из этих двухметровой толщины белокаменных стен и продолжать борьбу.

Со скрипом медленно распахнулась дверь. Чей-то голос (фигуры в темном коридоре против света не разглядеть) выкликнул:

— Савельева, выходи!

Провели длинным, таким же сводчатым, что и камеры, коридором, потом спустились на первый этаж — и снова длинный коридор. Комната небольшая, но светлая, обставленная канцелярской мебелью. У окна письменный стол и сейф, большой, чуть не до потолка. У одной стены деревянная лавка и большой деревянный ящик. В углу раковина. Еще, обратила внимание Паша, цементный пол свежеемыт.

За письменным столом офицер, внешность невзрачная: небольшого роста, голова маленькая, с прилизанными редкими волосами. Молодой, а под глазами мешки, и рот бесформенный, стариковский. В глазах, светло-серых, без блеска, ничего не прочитаешь, словно оловянные глаза. По погонам определила — лейтенант войск СС.

Шмидт смерил девушку с ног до головы взглядом, который он сам считал пронизывающим и которым очень гордился.

— Имя? Фамилия? Отчество?

Паша ответила. Шмидт записал, повторяя вслед за Пашей каждое слово с оттенком какой-то особой значительности, словно хотел показать арестованной, что ему, следовательно, известно нечто важное, скрытое в этих обычных словах.

«А ведь он дурак, — вдруг поняла Паша, — эх его распирает от важности».

Между тем, покончив с чисто формальной, протокольной частью допроса, Шмидт предложил Паше сесть. Это тоже было частью его метода, он полагал, что вежливость при первом допросе парализует волю преступника. Паша села.

Уже из первых вопросов Паша поняла, что умен лейтенант или нет, но, во всяком случае, биографию ее он успел выучить назубок. Что ему о ней известно, кроме биографии? И еще раз перебрала все в памяти.

Листовки, обеспечение документами военнопленных — дела старые, она к ним в последние месяцы отношения не имела. О сборе ею разведданных не известно никому, кроме связных из отряда, но последний связной благополучно доставил очередное донесение в отряд.

В банке она вне подозрений: работала хорошо, пользовалась для сбора информации только теми материалами, с которыми имела дело в силу своих прямых обязанностей. Записей на службе никогда не вела — ее профессиональная, натренированная память финансиста попросту не нуждалась в этом.

Михаил Неизвестный давно отозван в отряд, в Луцке ему, боевику, оставаться дальше было никак нельзя, следовательно, единственно серьезной уликой могла быть ее связь с Ткаченко, если только немцы нащупали эту связь. Но Ткаченко, по той же инструкции командования, в последнее время тоже отстранился от всех подпольных дел и занимался лишь разведкой на железной дороге. О том, что со склада в Луцке похищен секретный химический снаряд, в городе никому из местных жителей известно не было. В подполье об этом никто не знает, об их с Алексеем отдельной — по линии разведки — связи с отрядом никто из подпольщиков также не осведомлен. (Пашу вначале очень огорчало, что о похищении снаряда она не должна говорить даже старым товарищам, теперь она убедилась, сколько мудрости в этом строгом приказе.)

Пока что только один вопрос следователя выходил за рамки безопасности:

— Вы состояли в комсомоле? — стараясь выглядеть совершенно не заинтересованным в ответе, спросил Шмидт.

«Ведь знает же, подлец», — подумала Паша, а вслух простодушно удивилась:

— А как же иначе, господин лейтенант? Я была

студенткой московского института, без комсомола никак нельзя было, вы же понимаете.

Остальные вопросы были менее опасными, а о комсомоле Шмидт больше не спрашивал. Так прошло часа два...

— Скажите, Савельева, — неожиданно торжественно, почти высокопарно начал вдруг Шмидт, и Паше показалось, что невзрачный лейтенант вроде бы привстал за столом, хотя он продолжал сидеть, — германские власти оказали вам большую честь и большое доверие, предоставив работу в одном из самых важных учреждений города — банке! Банке! — повторил Шмидт с трепетом в голосе. — Очень редко на такую работу допускают славянина, поскольку ваши соотечественники совершенно не способны к точности, аккуратности и логичности мышления. Для вас сделали исключение, и вы это должны были ценить. Правда, ваши начальники характеризуют вас как добросовестного и исполнительного работника. Но этого мало!

«И куда он гнет? — думала между тем Паша. — Начал вроде бы за здоровье...»

— Сомнительные знакомства у вас, Савельева, — резко, словно выстрелив, бросил вдруг Шмидт и, не давая опомниться, потребовал: — Вы знакомы с Дунаевой, Марией?

— Да, знакома... — а в голове пронеслось: «Значит, взяли Марию Ивановну».

— Какие у вас с ней отношения? — теперь от вежливости Шмидта не осталось и следа, а глаза его уже не казались оловянными — смотрели зло, nastороженно.

Паша пожала плечами:

— Трудно ответить в нескольких словах... Мы когда-то работали вместе, потом встречались иногда, случалось, на базар вместе ходили, деньги друг у друга

занимали, болтали, — вроде бы и все наше знакомство.

— Что вам известно о ее преступных действиях против германских властей и связях с партизанами?

— Мне?! — Паша вскочила. Вырвавшийся у нее возглас изумления был настолько естественным, что удивил даже ее саму. — Да какая же Мария Ивановна партизанка? Что вы, господин лейтенант! Ни за что не поверю!

— Тем не менее это факт, Савельева, на ее квартире регулярно прятались партизаны из леса, одного из них мы там сегодня арестовали, при нем было оружие, так что вам лучше рассказать все, что вы знаете о Дунаевой.

«Кого же они взяли у Марии Ивановны?!» — это про себя. Вслух:

— Господин лейтенант, я понимаю, раз вы так говорите, значит, так и есть. Но судите, как же могла об этом догадаться я?

Разговор о Дунаевой, в общем-то, застопорился. Сколько ни бился Шмидт, Савельева не добавила ничего нового к тому, что уже сказала. А в сказанном не было ничего, что можно было бы использовать для следствия. Шмидт снова стал вежливым, даже галантным. Заметив, что девушка устала, предложил ей выпить стакан воды. Паша не отказалась. Чувствовала, что это не конец, и вода была как нельзя кстати.

— И еще один вопрос, Савельева, — вкрадчиво и даже чуть игриво начал Шмидт, — так сказать, интимного свойства. Ведь вы не замужем?

— Нет.

— Тогда, может быть, у вас есть жених?

— И жениха тоже нет, господин лейтенант.

— Тогда скажите, Савельева, — внимательно глядя на нее в глаза, продолжал Шмидт, — не ставите

ли вы под угрозу свою репутацию тем, что к вам, молодой девушке, часто ходит в дом некий мужчина?

Это был тот самый момент, когда Паша почувствовала, что у нее вот-вот сердце выпрыгнет из груди. Неужели им все-таки удалось установить что-то об Алексее Ткаченко? Вот теперь держись, Паша!

— Что вы имеете в виду, господин лейтенант? — в меру возмущенно, чтобы не переборщить, спросила девушка.

— Вот что, фрейлейн, — сурово, даже зло заявил Шмидт. — Настоятельно рекомендую вам быть со мной предельно откровенной. Вам может помочь только честосердечность. Нам известно, что несколько раз вашу квартиру посещал человек, являющийся связным партизанской банды. И я требую, чтобы вы рассказали нам все, что вам известно. Если угодно, могу напомнить, что его имя Александр.

В самом деле, к Савельевым несколько раз в свое время приходил связной одного из действующих близ Луцка партизанских отрядов по имени Александр, тот самый, чья глухонемая мать жила когда-то у Ткаченко. Этому отряду луцкие подпольщики иногда оказывали поддержку медикаментами, а также направляли туда порой бежавших военнопленных. Визиты Александра были редки, к тому же в последние месяцы, когда Паша и Ткаченко целиком переключились на разведывательную работу, всякую связь с ним они прекратили вовсе, передав ее другим подпольщикам. Александра немцы, видимо, засекли по-настоящему, потому что знали, вернее — подозревали, о его визитах не только к Паше, но и о том, как это уже говорилось, что его мать жила у Ткаченко. Но, задав Паше лобовой вопрос об этом связном, Шмидт использовал последний из имевшихся у него козырей (первым был факт знакомства Савельевой с Дунаевой).

И в самом деле, уличить Савельеву в подпольной деятельности могли только прямые показания Александра, а это было невозможно, поскольку он не был арестован, а только разыскивался. Доказательств того, что человек, которого осведомитель гестапо несколько раз видел входящим в дом Савельевых, действительно партизанский связной, у Шмидта не было. Просто совпадали приметы, но этого, он понимал, было мало. И сейчас, требуя от Савельевой признания, Шмидт блефовал, надеялся на удачу, на «а вдруг», как в лотерее. В глубине же души Шмидт не верил, что пичужка, сидящая сейчас перед ним и наверняка до полусмерти перепуганная арестом, имеет хоть какое-то отношение к партизанам. Отзывы на нее были хорошие не только от заведующего отделением, но и от секретного осведомителя гестапо в банке.

«Вдруг» не получилось. Всерьез Паша опасалась только вопросов о Ткаченко или Неизвестном. Александра она не видела давным-давно и могла отрицать знакомство с ним сколько угодно, подвести могло лишь его признание, а это могло случиться только, если немцы, во-первых, схватили связного и, во-вторых, если он затем выдал ее на допросе. Тогда уж конец. Но пока ей не дадут с ним очной ставки, ломать голову незачем.

— Никакого партизана Александра я не знаю, хотя знакомых с таким именем у меня несколько, но вы же знаете, что это одно из самых распространенных русских и украинских имен. В дом ко мне никакие мужчины не ходят, да и где мне принимать знакомых? Мы живем вчетвером в одной комнате.

— В одной? — удивился Шмидт. — У меня записано — в двух.

— Вторая не комната, а темный чулан, можете проверить.

— Но все же это факт, — настаивал следовательно, — что к вам несколько раз заходил мужчина, которого мы разыскиваем...

— Так чего же вы его тогда не арестовали? Еще раз повторяю, никто из знакомых мужчин у меня дома не бывает. Заходил изредка один селянин с базара. У нас с Москвы осталось несколько льняных скатертей с ручной вышивкой. Здесь они в цене, мы их меняли на картошку; как все сменяли, он и перестал ходить. А партизан он или спекулянт обыкновенный, откуда нам знать? Нам картошка нужна...

Всю эту тираду Паша выпалила почти возмущенно, а главное, очень убедительно. Действительно, существовала во время войны такая форма торговли, когда крестьяне приносили продукты не на базар, а на дом: на базаре только заводили знакомства с покупателями, которые вызывали доверие. На базарах часто устраивались облавы, что всегда чревато последствиями, к тому же сплошь и рядом солдаты и полицейские отнимали у крестьян продукты и деньги.

Шмидт не мог не знать о такой практике, поэтому придаться к ответу Савельевой был не в состоянии, а никакими дополнительными данными он не располагал.

Буквально считанные минуты отделяли сейчас Пашу Савельеву от свободы и спасения.

...Без стука внезапно распахнулась дверь. Солдат-конвоир едва успел отскочить в сторону. В комнату вошел невысокий, коренастый человек в кожаном пальто и шляпе, на толстом мясистом носу уверенно держались крупные очки в роговой оправе с очень сильными стеклами. На верхней губе щеточка усов, как у фюрера. Шмидт пружиной взвился со стула, выбросил правую руку:

— Хайль Гитлер!

Савельева тоже встала со своего стула. В человеке,

который без стука вошел в кабинет, она мгновенно узнала шефа лужского гестапо доктора Фишера.

Внезапное появление шефа было для Шмидта очень неприятно. Но сказать, чтобы оно было неожиданным, нельзя. Шмидт хорошо знал за доктором привычку без предупреждения являться на допрос.

— Продолжайте, Шмидт, — ответив на приветствие, сказал Фишер и прошел к окну так, чтобы пробежать глазами из-за плеча следователя протокол. Шмидт растерялся, собственно говоря, ему больше не о чем было расспрашивать Савельеву, и он собирался выписать ей пропуск на выход. Но чтобы как-то проявить себя перед начальством, он задал Паше еще два-три дополнительных вопроса, уточнявших уже полученные ответы. И вдруг почувствовал, как плечо его сильно сжали пальцы шефа.

Шмидт поднял голову и поразился выражению его лица... Фишер стоял, склонившись над лейтенантом, и не отрывал взора от девушки. Потом он заговорил. Голос его был мягок и доброжелателен, но натренированное ухо Шмидта безошибочно определило в нем сильнейшее волнение.

— Фрейлейн Савельева приехала в этот город из Москвы?

— Да, — подтвердила Паша, — после окончания института, по распределению. Я уже рассказывала об этом господину лейтенанту, об этом написано во всех моих документах.

— Правильно, фрейлейн, правильно, — замахал руками Фишер, — мы знаем. Скажите, а немецким языком вы так хорошо овладели тоже в Москве?

— Я изучала язык в институте, он входил в программу, но по-настоящему заговорила только здесь, на работе мне все время приходится говорить по-немецки.

— Похвально, очень похвально, — довольно кивнул головой Фишер. — Что ж, фрейлейн, продолжайте так же добросовестно работать, как работали до сих пор. И будем считать, что ваш вызов сюда результат недоразумения. Надеюсь, вы на нас не в обиде?

И он добродушно улыбнулся. Паша устало провела ладонью по лбу.

— Нет, что вы... Господин лейтенант был очень любезен.

— Вот и хорошо, фрейлейн. Предупреждаю вас только: вы никому не должны рассказывать, о чем с вами говорил следователь. Вы меня понимаете?

— Конечно.

— Вот и хорошо. Шмидт, выпишите фрейлейн Савельевой пропуск на выход.

Лейтенант был потрясен. Он всяким видывал своего шефа, но вот таким, превратившимся в заботливого папашу, — впервые.

Савельева вышла... Шмидт повернул голову и снова поразился очередной метаморфозе. Теперь Фишер вовсе не походил на доброго дядюшку из старых немецких сказок. Лицо его было жестким, словно гипсовая маска. Глаза за толстыми стеклами торжествующе блестели. Он схватил телефонную трубку и торопливо набрал номер:

— Роот? У вас сейчас находится Савельева, да не повторяйте за мной, черт вас подери! Задержите ей возвращение документов минут на двадцать.

Не вешая трубку, нажал на рычаг и набрал другой номер. Шмидт знал его тоже — управление гестапо.

— Штурмфюрер Рунге? Да, это я. Приказываю: свободных агентов наружного наблюдения к тюрьме. Оттуда сейчас выйдет Прасковья Савельева. Взять ее и не спускать с нее глаз ни днем, ни ночью. Отметить и провести все ее контакты. О результатах докладывать

мне каждый час, в случае необходимости звоните домой. Да, даже ночью. Все.

Фишер положил трубку на рычаг и взглянул на лейтенанта. Хрипло рассмеялся.

— Не волнуйтесь, Шмидт. Вас я тоже без дела не оставлю. Срочно достаньте солдатский мундир и пилотку самого маленького размера, разыщите в гарнизоне младшего унтер-офицера Юнга и распорядитесь, чтобы из криминалистической лаборатории доставили слепки.

— Какие слепки? — непонимающе переспросил Шмидт.

— Идиот! — взревел Фишер. — Те, что оставил на складе советский диверсант! Неужели до вас не доходит, что именно с ним вы, бездарная тупица, болтали здесь три часа о всякой дребедени?!



Да. Это было то, что называется интуицией разведчика. Вначале, войдя в кабинет Шмидта, Фишер не обратил особого внимания на задержанную, робко сидевшую на краешке табурета. Но потом пригляделся к ней повнимательнее и увидел то, что прошло мимо внимания Шмидта. За внешней беззащитностью девушки он угадал недюжинную внутреннюю твердость, за простодушием — ум и, что очень важно, определенную линию поведения, чего никогда не наблюдал у людей, задержанных действительно по недоразумению. Он

быстро из-за плеча Шмидта прочитал протокол допроса и заинтересовался еще больше.

Комсомолка, закончившая институт в Москве... Знает немецкий язык и работает в немецком учреждении, к тому же важном. Фишер мгновенно понял, насколько ценным мог бы быть такой человек для советской разведки.

И внешность: округлое лицо с четкими чертами, короткая прическа, худенькая гибкая фигурка, по всему чувствуется — сильная и ловкая. Да переодень ее в мужскую одежду — и не отличишь от полуподроска-полуюноши, какого описывал унтер-офицер Юнг... Он незаметно разглядел ноги девушки: обувь, конечно, грубая и некрасивая, но ступня не больше тридцать пятого размера, значит сапог — тридцать шестого. Слепки следа были именно тридцать шестого. Понятно, почему подошвы нестандартного рисунка — мужские сапоги этого размера в армию не поступают. Форму подогнать нетрудно, а сапоги в темноте не различишь. Фишер разглядел и ладони: небольшие, но широкие, сильные, привычные к физической работе.

Он распорядился отпустить Пашу домой, но под неотступным наблюдением секретной службы.

Фишер имел в виду дать Паше свободной жизни не больше двух суток. Он рассудил, что если эта девушка действительно тот солдатик, который участвовал в похищении снаряда, то она постарается или немедленно покинуть город, а это будет против нее серьезнейшей уликой (после снятия всех обвинений зачем бежать?), или — самое желательное — постарается дать знать об аресте своим сообщникам, и тогда он, Фишер, накроет всю группу одним махом.

Во всяком случае, выпуская Пашу, Фишер ничем не рисковал, деваться ей все равно некуда. Свои шах-

матные ходы гестаповец рассчитывал правильно. Но Паша не оправдала ни один из них...

Инстинкт самосохранения подсказывал девушке, что самое лучшее для нее — покинуть город, и немедленно. Но это совершенно исключалось. Она не в состоянии была бросить на произвол судьбы мать, Верочку и тетю. Если гестапо снова заинтересуется ею и не найдет на месте, свою ярость оно выместит на ее близких. И тут же выбросила мысль об уходе в отряд.

Не собиралась она и навещать товарищей по подполью: наверняка гестапо установило за ней слежку.

Она шла к Хлебной неторопливо, снова и снова переживая все, приключившееся с нею, и желала только одного: чтобы никто из товарищей не подошел к ней и не выдал бы тем себя. А дома было совсем плохо. Мать и тетя ходили опухшие от слез, даже маленькая Верочка притихла, чувствовала, что произошла беда. Паша, как могла, успокаивала родных, но ни себя, ни мать обмануть не могла.

— Уходи, дочка, уходи, пока не поздно, не гляди на нас, старух, тебе еще жить да жить, — не переставая твердила Евдокия Дмитриевна, — а за Верочку не бойся, отдадим соседям, не пропадет среди добрых людей, да и наши скоро придут.

Ночью измученная, осунувшаяся Паша так и не заснула. Слышала в полудреме, как ворочается и тихо плачет в подушку мать. А утром пошла на работу. Она ничем не должна была выдать себя перед возможными наблюдениями гестапо.

...Ее арестовали вторично через день, 24 декабря 1943 года, когда она с работы возвращалась домой, прямо на улице втолкнули в легковой автомобиль и привезли в тюрьму. Снова знакомая камера номер четырнадцать, но на этот раз набитая до отказа.

В эти дни Фишер провел незаметно для Паши од-

ну очную ставку... Гестаповец отказался от первоначальной идеи одеть Савельеву в немецкий солдатский мундир после ареста, чтобы не насторожить ее, и целиком положился на зрительную память младшего унтер-офицера Юнга. Бывший часовой пришел в банк, якобы охраняя кассира гебитскомиссариата, — 23 декабря сотрудникам немецких учреждений как раз выдавали награды к предстоящему рождеству. Пока Паша оформляла платежные документы и отсчитывала деньги, Юнг, которого девушка, разумеется, не узнала, мог минут десять внимательно вглядываться в ее лицо.

Привезенный в гестапо, в кабинет самого Фишера, унтер-офицер без колебаний заявил:

— Да, господин доктор, это она. Я только представил, что если ей подобрать волосы и надеть нашу пилотку... Это она, я не сомневаюсь, господин доктор.

Во время обеденного перерыва, когда в операционном зале никого не было, криминалист снял отпечатки Пашиных рук на дверце сейфа и настольном стекле. Они совпали с отпечатками, хранившимися в деле о похищении секретного химического снаряда.

Все сходилось. Дело, по мнению Фишера, теперь оставалось за малым: заставить Прасковью Савельеву рассказать подробности похищения, выдать сообщников и связи. Только и всего. В том, что ему удастся разговорить эту хрупкую девушку, он не сомневался. Снаряда, конечно, не вернешь, но то, что он все-таки поймал советскую разведчицу (а может быть, и накрыл всю группу), должно было спасти его подмоченную карьеру. Нет, поистине сам немецкий бог натолкнул тогда его на мысль зайти к Шмидту!

...На допрос Савельеву вызвали через четыре часа. Это был определенный тактический прием: запутать арестованного ожиданием, заставить его измучиться

в гаданьях: почему взяли опять, что нового стало о нем известно следователю?

Снова ввели в уже знакомый кабинет. Тот же стол у окна. И опять свежeweымытый цементный пол. Тот же лейтенант войск СС за столом. Савельева только не знала, что сегодня у лейтенанта по отношению к ней есть определенная установка. Шмидт приказал конвоиру выйти, предложил Паше сесть. Она опустилаcь на табурет молча: пусть немец сам скажет, почему ее снова арестовали.

И Шмидт объяснил. По-своему. Он подошел к девушке, несколько секунд безучастно вглядывался в ее бледное лицо и вдруг, так и не сказав ни единого слова, ударил кулаком в переносицу... Он бил ее долго и методично, без зла и ярости, как машина, выполняющая определенную программу действий. Бил в лицо, но не в голову, в грудь, в живот, в пах, перевернул ее, скорчившуюся на полу, и аккуратно, тщательно прицелившись, ударил несколько раз в крестец.

Удары наносил с расстановкой, так, чтобы в мутившемся сознании они не сливались, чтобы отдавался невыносимой болью каждый, чтобы несчастная жертва не впала в обморок, не скрылась от боли в спасительную тьму, когда уже бей, не бей — все равно. Иногда — нужные мгновенья он угадывал безошибочно — Шмидт прекращал избиение и выливал на Савельеву ковш холодной воды. И не плескал в лицо как попало, а лил с толком на нужные места: затылок, виски, живот, предварительно оголив тело, чтобы вода не пропадала зря, а освежала, помогала быстрее прийти в себя, очнуться для новых ударов, новой боли.

Два или три раза он останавливался, чтобы освежить под холодным краном собственные руки, массировал фаланги и снова бил. Он был предусмотрителен, лейтенант Шмидт, берег руки. Когда-то на заре

своей следовательской карьеры он после получаса работы так отбил себе кулаки, что не мог продолжать допрос. Теперь он работал осторожнее, а если попадался здоровый, сильный мужчина, особенно костлявый, то надевал специальные перчатки, вернее, подбитые тонким слоем конского волоса варежки, которые боксеры называют «блинчиками» и которые предохраняют руки при тренировках на снарядах с песком. Шмидт самолично, на свои деньги купил несколько пар «блинчиков» в спортивном магазине, когда был в Берлине в отпуске.

Избиение продолжалось ровно час. А по прошествии шестидесятой минуты Шмидт прекратил его так же внезапно, как и начал. Поднял почти бесчувственную Пашу, усадил не на табурет, а на стул со спинкой, мокрым полотенцем вытер лицо, поднес к носу смоченный нашатырем тампон и дал воды.

Потом вызвал конвоира и приказал отвести в камеру. Никаких объяснений, никаких вопросов. Подобное избиение на жаргоне гестаповцев назывались «прелюдией». Человека избивали, не добиваясь каких-то определенных показаний, так сказать, предварительно, чтобы сломить психологически, отбить охоту упорствовать на настоящем допросе, который еще предстоял.

Женщины в камере осторожно уложили Пашу на соломенный тюфяк, обмыли с лица кровь, положили на лоб мокрый компресс, помогли прийти в себя.

Паша не знала до сих пор, что о ней известно немцам, насколько сильный удар нанесли они по организации, кто остался на свободе, не выдал ли ее кто-нибудь из товарищей, не выдержав избиений. Но после сегодняшней встречи со Шмидтом одно знала твердо: дело ее плохо.

Одна из женщин, хлопотавших над Пашей, хотя и не входила в подполье, но Пашу знала, потому что несколько раз по просьбе Марии Дунаевой у нее останав-

ливались беглые советские военнопленные, иногда у нее хранили и листовки, предназначенные для отправки в окрестные села. Мысли у Паши путались, доброе лицо, склонившееся над ней, казалось ей знакомым, но она никак не могла вспомнить, как зовут женщину. Та гладила ее по волосам, говорила какие-то ласковые слова, а потом, когда Паша совсем пришла в себя и вокруг никого не было, в самое ухо шепнула:

— Приходил уборщик, кто-то из ваших просил передать тебе, что мать и тетю поганые задержали, допрашивают о тебе...

Весть была тяжелой. Паша была готова принять какие угодно муки, но представить, что немцы избивают родных, было выше ее сил.

Фишер действительно приказал арестовать Евдокию Дмитриевну и Ефросинью Дмитриевну. Вообще-то он понимал, что если Паша советская разведчица, принимавшая участие в такой важнейшей операции, как похищение снаряда, то наверняка она держала все в секрете от своих родственников. Но все же надеялся: а вдруг женщины что-нибудь в свое время и заметили? Нужны они были Фишеру и для психологического воздействия на Савельеву.

Собственной тюрьмы лужское гестапо не имело и пользовалось городской тюрьмой, где заключенным удавалось поддерживать связь друг с другом записками, которые передавали из камеры в камеру уборщики, тоже из заключенных. Поэтому уже в первый день Паша Савельева знала не только об аресте матери и тети, но и о том, что взяты Мария Ивановна Дунаева, Алексей Ткаченко и другие товарищи.

К ночи Савельеву снова вызвали к Шмидту. Снова посадили на круглый табурет посреди комнаты, в лицо направили слепящий пучок света. За столом сидел сам доктор Фишер, Шмидт же стоял рядом, а когда требо-

валось, присаживался к краешку стола и скрипящим пером заносил вопросы шефа и ее ответы в протокол.

— Вот что, Савельева, — отбросив свою давешнюю учтивость, сказал Фишер. — От вас самой зависит, уйдете ли вы отсюда своими ногами, как уже ушли однажды, или вас отсюда вынесут. Вы поняли?

Паша угрюмо молчала, прикусив губу, но не упускала ни одного слова.

— Я не могу сказать, — продолжал Фишер, — что знаю о вас все, иначе не было бы этого допроса. Но нам известно о вас главное. Два месяца назад вы и ваши сообщники совершили тягчайшее преступление против рейха: убили трех военнослужащих германской армии и похитили с артиллерийского склада экспериментальный снаряд...

Внутри Паши все сжалось и оборвалось. Откуда им известно? Кто мог выдать? Ткаченко? Не может быть.

— Я говорю с вами прямо, ничего не скрывая, потому что факт вашего участия в преступлении установлен нами совершенно точно. Совпадают и отпечатки ладоней, оставленные вами в складе, и отпечатки подошв от сапог. Хотя вы и были переодеты в немецкую военную форму, но один из оставшихся в живых часовых опознал вас и готов подтвердить свои показания под присягой. Лично я признаю, что это была очень дерзкая и искусная операция, как профессиональный контрразведчик могу ей дать самую высокую оценку... Судя по тому, что вы совершили, вы умный человек, Савельева, и понимаете, что улики против вас неопровержимы. (При этих словах Фишер указал на письменный стол, чтобы Паша увидела там листы специальной бумаги с оттисками ладоней и слепки...) Вас ждет виселица. Мы установили, что вы виновны и в других преступных действиях против германских властей. Вы систематиче-

ски поддерживали связи с партизанами, выпускали листовки антиправительственного содержания... Так что вам крышка!

На этом доктор Фишер с силой ударил пухлым кулаком по столу.

Савельева сидела как каменная. Пускай говорит, что угодно. «Режь меня, жги живьем, а не достать вам того снаряда...»

— Короче говоря, — решительно закончил Фишер, — я могу вам предложить единственную сделку. Вы получаете жизнь и свободу. От вас же требуется информация, которой мне не хватает для завершения следствия. А именно: кто вместе с вами принимал участие в налете на склад, где сейчас эти люди, куда и как вы переправили снаряд.

Фишер замолчал и теперь выжидал, постукивая по стеклу костяшками пальцев. Молчал Шмидт. Молчала и Савельева.

Так прошла минута, другая, третья.

Изю всей длинной речи Фишера Паша уловила одно — ей, судя по всему, действительно крышка, доказательств у немцев против нее более чем достаточно. Но кое-что и обрадовало: гестаповцы раскрыли ее самостоятельно, никто ее не выдал, о связях с отрядом и о Ткаченко им ничего не известно. Значит, есть за кого бороться. И она будет бороться — молчанием.

Доктор Фишер не торопил Савельеву, полагая, что она обдумывает его предложение. А Паша вспомнила вдруг горсоветовского деда.

...Этого старика, занимавшего до войны скромный пост сторожа в горсовете, знал в лицо весь Луцк. Сколько ему лет, никто не помнил, откуда появился — никто не знал. Был он невысокого роста, сухощав, подвижен, от уха до уха зарос густой кудлатой бородой. Такими же кудлатыми были и его брови. Были ли

у него волосы на голове, никто не знал, так как старик и зимой и летом носил смушковый треух бурого, то ли от природы, то ли от возраста, цвета. Он был одинок, вся его родня давно перемерла, дома своего не имел и жил при горсовете в крохотной, но по-корабельному чистенькой комнатухе за лестницами. По имени-отчеству его никто не звал: дед да дед. В горсовете были и настоящие сторожа, но увольнять деда все жалели, так он и числился, благо на штатном расписании его скромная зарплата серьезно не отражалась.

Фактически у деда оставалась единственная обязанность, которую он выполнял очень ревностно и никогда никому не передоверял: два раза в год, 6 ноября и 30 апреля, под его личным руководством более молодые рабочие украшали фасад горсовета большим портретом Ленина, макетом герба Советского Союза, лозунгами, флагами. В будничные дни все это праздничное убранство хранилось в горсоветовском подвале, и опять тот же дед тщательно следил за его сохранностью, от поры до поры подновляя. Там же в подвале у старика был и запас всяких полезных вещей: рулоны кумача, кисти, краски обычные, краски бронзовая и алюминиевая, рейки, холст.

После занятия Луцка немцами деда не тронули, так он и оставался в своей каморке, существуя неизвестно на что. В канун рождества 1941 года немецкий комендант вздумал вдруг произвести осмотр всех помещений и... обнаружил, что целых шесть месяцев в одном из подвалов за грудой деревянного и железного хлама горсоветовский дед хранил, причем в полном порядке, хоть завтра вывешивай, все это дорогое каждому советскому человеку убранство горсовета.

Старика немедленно арестовали, стащили в гестапо. Там долго избивали, допытывались, чьи поручения выполнял, с кем связан. Упрямый дед с достоинством от-

вечал, что хранить флаги, герб и портрет Ленина ему доверила Советская власть...

— Нету никакой твоей Советской власти! — в испуге орал на него следователь. — Здесь власть фюрера и германской империи!

— Власть здесь одна, советская, — стоял на своем старик, — а вы есть не власть, а узурпаторы и супостаты, и на нашей земле не правители, а временщики...

Старика вели на виселицу в канун Нового года. Он шел знакомой улицей, вдоль которой стояли люди... Шел, еле передвигая ноги от слабости, а на шее его висел огромный герб Советского Союза. И чем ближе подходил горсоветовский дед к месту своего смертного часа, тем тверже становился его шаг, все больше молодедел он и выпрямлялся под взорами земляков. Так и взошел он с гербом на эшафот: сильный, непокоренный, такой же молодой и бесстрашный, каким был в 1905 году, когда черноусым комендором бунтовал против царя в славном городе Севастополе...

Сдвинув широкие светлые брови, Паша в упор, не мигая, смотрела прямо в глаза Фишеру. И гестаповец не выдержал, отвел глаза. И не мог он, конечно, догадаться, что неслыханную твердость и решимость этой девчонке придало воспоминание о старике, повешенном по его же, Фишера, приказу ровно два года назад. Люди-звери! Паша хорошо знала, кто они, эти двое, по ту сторону стола. Они ждали, ждали ее ответа, и она знала, что они не тронут ее, пока она не скажет «да» или «нет».

— Ну? — негромко спросил Фишер.

Паша не стала отвечать... Стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть при самом первом, а потому всегда неожиданном, даже когда ждешь, ударе, она только отрицательно качнула головой.

Встал над столом доктор Фишер. Рывком надвинул на лоб свою шляпу. Приказал коротко:

— Приступайте, Шмидт. Потом доложите, — и вышел, не оглянувшись, из комнаты. Он никогда не пытал лично, доктор Фишер.

И опять... Удары, удары, удары. И боль, от которой ни убежать, ни скрыться...

Паша молчала...

А на другой день, как только отошла, послала с надежным человеком первую записку Ткаченко, ту самую: *«Алексей, держись. О тебе на следствии еще ничего не знают».*

Их было двадцать, таких же страшных, самых страшных за всю Пашину жизнь дней и ночей...

Ее водили, а потом носили на допросы два-три раза в сутки, ее допрашивали Фишер и Шмидт в отдельности и оба вместе, ей приводили неопровержимые доказательства ее вины, втолковывали бессмысленность ее жертвы, убеждали, грозили, сулили свободу, давали гарантии неприкосновенности и сохранения тайны. Только чтобы она начала говорить.

Паша молчала.

Самое тяжелое испытание ожидало Пашу не в камере пыток, а в коридоре тюрьмы. Два конвоира волокли ее под руки с допроса вверх, когда в дверном проеме Паша случайно встретилась с матерью. Она была в забытьи, но страшный крик сразу привел ее в чувство... Это был голос матери.

— До-о-ченька, родная, что же с тобой сделали, изверги! Звери! Па-а-ня, кровинушка моя!

Обезумев при виде истерзанной, окровавленной, с разбитым лицом дочери, кинулась к Паше Евдокия Дмитриевна и отлетела в сторону, сбита на пол солдатским кулаком. Забилась, заметалась в крепких клешнях Паша, впервые за все время закричала:

— Ма-а-ма! Прощай, ма-а-ма!

Оглоушили, заткнули рот, поволокли бегом, торопливо распахнул дверь камеры надзиратель, с размаху вбросили в каменный мешок четырнадцатой. От удара о цементный пол головой потеряла сознание Паша. И не знала потом, наяву ли видела мать в последний раз, или то ей приснилось.

Только один день передышки получили узники луцкой тюрьмы от пыток и избиений — 1 января 1944 года, когда никто из следователей и их помощников по случаю Нового года не вышел на работу.

Чуть-чуть отошла Паша за этот день. Нашла в себе силы написать записки товарищам. Еще раз подтвердила Ткаченко, что о нем ничего не известно, чтобы вел себя соответственно, не попался на провокацию. Другим товарищам тоже сообщила, что знают о них немцы, а что нет, как кому держаться на следствии.

И Фишер, и Шмидт вели себя с Савельевой довольно откровенно, и знала она многое. Бороться за свою жизнь могли, по ее мнению, почти все арестованные, способные выдержать пытки. В безнадежном положении находились только Дунаева и схваченные на ее квартире с оружием Болдырев и Калинин. Их принадлежность к партизанам была очевидной.

Дунаевой отрицать было нечего: она признала, что вела антифашистскую борьбу, но взяла всю ответственность на себя, сказала, что поддерживала связь с партизанами сама и никого к этому больше не привлекала. Ее зверски пытали, но Мария Ивановна твердо стояла на своем: «Виновата я одна, никто мне не помогал». Больше гестаповцы от нее ничего не добились.

Со второго января для Паши началась новая полоса мучений. Шмидт в тот день сидел за столом мрачный и хмурый — после новогодней ночи у него болела

голова, мучила жажда, он то и дело прикладывался к графину с водой, глотал пирамидон.

— Будете говорить сегодня? — только и буркнул он, не глядя на Пашу.

— Нет...

Шмидт вышел из-за стола, снял мундир и повесил его на спинку стула. Закатал выше локтей рукава не очень свежей нижней рубашки. Потом звонком вызвал конвоира. Этого высокого рыжеватого солдата с всегда полусонным лицом Паша уже знала: кроме своих обязанностей охранника, он выполнял еще и функции помощника Шмидта.

— Качалку, — приказал лейтенант.

Лениво, словно нехотя, солдат достал из-под лавки длинную прочную веревку и, встав на табурет, с третьей или четвертой попытки перебросил конец ее через блок, ввинченный в потолок. Длинный конец замотал на крюк в стене. Потом все так же вяло подошел к Паше и жестом велел ей раздеться. Вдвоем со Шмидтом они связали Паше одним узлом за спиной кисти и ступни, а в узел пропустили свободный конец веревки. Потом рыжеватый солдат освободил с крюка длинный конец и потянул на себя.

Савельева выдержала качалку. И первую, и вторую, и пятую. Она выдержала все. Не обронила ни слова. И когда еще надеялась на спасение, и когда поняла, что впереди только смерть. И лишь тогда, истерзанная, но несломленная, нацарапала на стене камеры номер четырнадцать луцкой тюрьмы:

«Приближается черная, страшная минута! Все тело изувечено — ни рук, ни ног. Но умираю молча. Как хотелось жить! Во имя жизни будущих после нас людей, во имя тебя, Родина, уходим мы... Расцветай, будь прекрасна, родимая, и прощай. Твоя Паша».

* * *

Паша Савельева умерла утром 12 января 1944 года во дворе луцкой тюрьмы.

Ее не расстреляли.

Ее не повесили.

На штабеле березовых поленьев, облитых бензином, ее сожгли заживо.

Гладков Т. К., Лукин А. А.

Г52 Девушка из Ржева. Докум. повесть. М., «Молодая гвардия», 1974.

144 с. с ил. (Честь. Отвага. Мужество.) 100 000 экз.

Документальная повесть рассказывает о комсомолке Паше Савельевой, участнице подпольной группы в Луцке. Вместе с товарищами по борьбе она выкрала у немцев образец секретного химического оружия, который затем был переправлен в Москву.

Г 70302—062 178—74
078(02)—74

9(с)277

Гладков Теодор Кириллович
Лунин Александр Александрович
ДЕВУШКА ИЗ РЖЕВА

Редактор С. Михайлова
Художник А. Семенов
Художественный редактор Б. Федотов
Технический редактор Е. Михалева
Корректоры К. Пипинова, Е. Самолетова

Сдано в набор 11/IX 1973 г. Подписано к печати 29/I 1974 г.
А05524. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 3. Печ. л. 4,5 (усл. 6,3).
Уч.-изд. л. 6,0. Тираж 100 000 экз. Цена 19 коп. Т. П. 1974 г.,
№ 178. Заказ 1738.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес изда-
тельства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

*Ваши отзывы о содержании
и полиграфическом исполнении
книги присылайте по адресу:
103030, Москва, К-30, Сущев-
ская, 21, издательство «Моло-
дая гвардия», массовый отдел.*

Теодор Кириллович Гладков (род. в 1932 г.) — литератор. Закончил философский факультет Московского государственного университета. С 1955 года работает в центральной печати. Автор книг «Жизнь Большого Билла», «Джон Рид», «Менжинский», «Ковпак».

Александр Александрович Лукин (род. в 1904 г.) — старый чекист, участник гражданской войны. В годы Великой Отечественной — заместитель по разведке командира особого чекистского партизанского отряда Героя Советского Союза Д. Н. Медведева. Автор книг «Сотрудник ЧК», «Тихая Одесса», «Обманчивая тишина», «Разведчики», «Без особых примет», «Операция «Дар».

Совместно Т. Гладков и А. Лукин написали книги «Николай Кузнецов» и «Прерванный прыжок».